

В. В. Шуликовская

**ХРОНИКИ ОДНОЙ
ЖИЗНИ**



БОН АНЦА

Ижевск

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Ш 95

Шуликовская В.В.

Ш 95 Хроники одной жизни / В. В. Шуликовская. — Ижевск:
Информационно-издательский центр «Бон Анца»,
2017. — 96 с.

Как будет выглядеть наша жизнь, та самая повседневная жизнь, в которой люди получают образование, строят карьеру, заводят семью и воспитывают детей, если взглянуть на нее со стороны? На первый взгляд, главная героиня данной книги — обычная молодая женщина, наша соотечественница и современница. Однако у нее есть тайна, и тайна эта связана с ходом времени...

ISBN 978-5-903140-80-4

© В. В. Шуликовская, 2017
© Информационно-издательский
центр «Бон Анца» (оформление),
2017

**ХРОНИКИ ОДНОЙ
ЖИЗНИ**

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

*«В качестве домашнего задания предлагаю присутствующим представить себе людей, проживающих **дни** своей жизни, то есть периоды бодрствования, в произвольном порядке. Людей, которые, засыпая, не знают, на каком отрезке своей жизни им суждено проснуться, хотя у них есть смутная память, смутное, как во сне, общее представление обо всей имеющейся жизни в целом, и это помогает им ориентироваться в каждом отдельно взятом дне. В отличие от нас они даже не знают, конечно их существование или нет. Как представить себе психическую жизнь этих людей, их мечты, надежды и страхи?»*

Такими словами завершился последний раздел моего доклада «Призрак сознания», прочитанного на заседании семинара по темпорологии в МГУ¹. С тех пор прошло более пяти лет. Мне неизвестно, пытался ли кто-то из моих слушателей, а впоследствии и читателей ответить на поставленный мной вопрос. Но я это домашнее задание выполнила.

Нельзя сказать, будто работа моя оказалась чрезмерно тяжелой. Мне не пришлось описывать прихотливую и сложную ткань бытия *Homo in tempore* или перевернутое существование зеркальных людей. Вся необычность моей героини вынесена за пределы сознания и сосредоточена в тех

¹ Выдержки из этого выступления с характеристикой зеркальных людей приведены в конце книги. Полный текст доклада (на русском и на английском языках) можно найти на сайте www.szulik.ru. Там же см. статью «От *Homo sapiens faber* к *Homo in tempore*» с описанием *Homo in tempore*.

моментах беспамятства или небытия, которые случаются между погружением в сон и пробуждением. Она существует среди обычных людей и пользуется тем внешним наполнением жизни, которое мы все для нее создали. Однако даже этой необычности оказалось достаточно, чтобы вообразить себе странную душу, одинокую и любопытную, любящую и убивающую любовь. В книге у моей героини нет имени, ни даже лица, но она неотрывно следит за нами своим оценивающим взглядом, она судит нас и пытается разгадать как нас, так и себя, прежде всего — себя.

Пожелаем же ей удачи, и пусть каждый читатель решает сам, что за чувства вызывает у него эта женщина: сострадание или зависть.

День первый

ВРОДЕ БЫ СМЕРТЬ

— Да Вы что! Неужели Вы **не верите** в Бога?

Я усмехнулась внутренней усмешкой. Это означает, что лицо мое осталось неподвижным, но зато я очень живо представила себе, как шевелятся мои губы, ходят щеки и кожа съезживается в морщинки около глаз. Усмешка должна была выглядеть ехидно и горько. По многим причинам. Например, потому, что всего каких-то двадцать лет назад тот же самый доктор с тем же самым ужасом в голосе спросил бы меня: «Да Вы что! Неужели Вы **верите** в Бога?» Наверное, люди вокруг меня уже забыли наш прежний атеистический пафос, но я-то помнила! Впрочем, доктор был бы не тот же самый. Этот, если судить по его глазам, пока еще молод. Про другие части лица я ничего сказать не могла, потому что их закрывала белая маска, без которой со мной уже давно никто в этой больнице не разговаривал. Я стала очень опасна для окружающих, но не своими поступками, а теми маленькими существами, которые заполняют сейчас мои легкие и упорно не хотят умирать. Люди в масках знали, что я могу их заразить, но бросить меня на произвол судьбы им не позволял то ли служебный долг, то ли так называемое милосердие. Впрочем, дальнейшая судьба гнездящихся во мне бактерий их тоже не беспокоила: все понимали, что после моей смерти бедолагам негде будет жить и нечего есть, однако никто из окружавших меня людей не был готов гостеприимно распахнуть перед ними собственные легкие. Настолько далеко их милосердие не заходило. Наверное, оно распространялось исключительно на людей. Хотя кошечек

и собачек они тоже могли пожалеть. Сама я считала, что в масках даже лучше, теперь я могу смотреть им в глаза, в одни только глаза, и ничто не отвлекает от главного. Всё равно я не помню ни лица, ни имена. Глаза попадались по большей части необычайно усталые, какие-то безнадежные. А чего еще ожидать — в таком-то месте?

— Представьте себе, я не верю в Бога. Понимаете, у меня другие способы бороться со страхом смерти.

— Ну при чем тут... — начал было мой врач, однако я не дала ему досказать:

— Да ладно, не делайте вид, будто Ваша вера нужна для чего-то еще. Страх и еще раз страх, а страх смерти — особенно! Знаете, в чем разница между нами двумя? Вы **подозреваете**, что я сегодня умру, и эта мысль — хотя я Вам никто — настолько Вас тяготит, что Вы пришли сюда под предлогом поменять капельницу, как будто Вы медсестра, и решили заговорить со мной о Господе, хотя и этого Вы делать не обязаны, ведь Вы не священник. А я **знаю**, что я сегодня умру, и меня это ничуть не беспокоит. Мне ведь предстоит как бы задохнуться, правда? Когда-то в детстве мне приходилось тонуть, и я помню, что это значит. Ощущение, конечно, не из приятных, но выдержать его можно. Однако в моем случае главное даже не это. — Я прикрыла глаза, собираясь с силами. Все-таки в моем теперешнем состоянии длинные монологи, пусть даже полупшепотом, совсем ни к чему. Но мне хотелось договорить, и я смогла пересилить себя. — Я — не — боюсь! Да, пусть сегодняшней день выдался короче всех остальных, но вряд ли он станет для меня последним. Видите ли, я живу свою жизнь не по порядку.

— Не по порядку?

— Ну да, не по порядку. — Я продолжала усмехаться изнутри, теперь уже немного глумливо, однако мой собеседник всё равно не мог ни увидеть, ни оценить этой глумливости. — Давайте я сейчас кое-что Вам расскажу, и мы засчитаем этот рассказ за мою предсмертную исповедь. Всё очень просто. Ваше вчера — это календарное вчера, и ваше

завтра — это календарное завтра, и если занумеровать дни человеческой жизни так, как они идут по времени, от месяца к месяцу, от года к году, то Вы, как и все люди на свете, кроме меня одной, проживаете их по порядку: сначала первый день, потом второй, потом третий, потом сорок пять тысяч сто двадцать восьмой, — он же последний, означающий конец, смерть, которой Вы боитесь настолько сильно, что готовы сочинить себе любой вздор, лишь бы этот вздор сохранил Вас от предсмертного ужаса. А у меня всё иначе, мои дни перетасованы, как игральные карты, и выпадают случайно. Мое вчера было в середине девяностых годов, и вчера я, знаете ли, поступала в институт. А завтра... Кто его знает, куда меня занесет завтра? Есть у меня любимые дни, а есть и не очень, но их чередование зависит не от меня. Может, завтра бабушка потащит меня в детский сад, а может, завтра будет моя свадьба, а может, придется рожать. В любом случае, очень мало шансов на то, что сегодняшний день, последний для меня по календарю, окажется по-настоящему последним. Если Вы учили математику, то сами знаете: шансов не больше и не меньше, чем в любой другой день. Так что я не могу сказать, который из них станет завершением моей жизни. Я вообще не знаю, будет ли у меня этот по-настоящему последний день, после которого я уже не проснусь никогда. У меня есть смутное подозрение, что я проживаю мои дни не только один раз — чего нельзя сказать в случае Вас. Я даже не уверена в том, что у меня было начало. Быть может, я блуждала по дням своей жизни всегда, и мое «всегда» древнее, чем человечество, древнее планеты Земля, древнее самой Вселенной, потому что оно бесконечно. И мне даже лучше, что я так скоро умру: значит, дней, проведенных здесь у вас, будет очень и очень немного. Каждый раз, засыпая, я знаю, что у меня очень мало шансов проснуться в тюрьме.

Я заметила, что в глазах моего врача появилось хорошо знакомое сомнение, что-то типа: «А не пригласить ли сюда психиатра?» Однако мы оба понимали, что никто не станет

вызывать психиатра к умирающей. Да и откуда психиатр в тюремной больнице?

В этот момент меня накрыл приступ кашля, того самого, когда изнутри кто-то, кажется, теркой проводит по горлу, по самым бронхам, и вместе с кровью изо рта вылетают маленькие мягкие кусочки легких. Потом я откинулась на подушки отдохнуть под неровный стук собственного сердца, который мне предстояло слушать еще некоторое (довольно недолгое) время. Неужто и впрямь сегодня?

Интерьер моей больницы был выполнен в стиле ободранной кошки или, на осторожном языке дизайнеров, в стиле «шэбби»: треснувшие оконные рамы на ржавых петлях, следы весеннего паводка на потолке, лохмотья краски, свисающие с дверных косяков и с других самых неожиданных мест. От всех прочих больниц эту отличало только отсутствие смартфонов и других новомодных гаджетов у пациентов в руках. Из дверей не закрывалась ни одна. По крайней мере, в пределах доступного мне пространства. Я проверяла это раньше, когда еще могла вставать и ходить. Все дверные ручки болтались на одном шурупе, словно по особенному замыслу дизайнера. Возможно, так предписывали местные правила. У окон не было шпингалетов. Наверное, чтобы мы не смогли их открыть.

Тем временем врач действительно поменял капельницу и даже сделал еще один незапланированный укол, но уходить, похоже, не собирался. Более того, он осмелился присесть. Не на кровать, конечно, а на стул рядом с кроватью.

— И почему же так вышло, что Вы, именно Вы из всех людей на Земле, живете не по порядку?

— Вот насчет «почему» увольте, этого я сказать не смогу, самой хотелось бы знать. А технические детали могу объяснить, спрашивайте, я отвечу. — На меня вдруг накатило странное и диковатое воодушевление, в моей ситуации совершенно неуместное. Давешний укол подействовал, что ли? Или мои мысли приобрели ту ирреальную ясность, которую может дать только очень высокая температура? Я прикосну-

лась к своему большому пальцу и ощутила биение пульса. Пульс, который прощупывается на пальцах руки, означал градусов сорок, не меньше. Моя нынешняя откровенность не имела никакого смысла, но я решила: да пожалуйста, ради бога! Пусть охватившая меня злая эйфория придаст шарма сегодняшнему ужасному дню, чтоб мне захотелось в него вернуться! Что бы я сейчас ни наговорила, всё равно в завтрашнем дне — в их завтрашнем дне — меня уже не будет.

— Хорошо, я спрошу. У нас, несчастных упорядоченных людей, по крайней мере, есть четкая уверенность в том, что на пять тысяч двести десятый день все дни с предыдущими номерами уже прожиты, а все дни с последующими номерами — еще нет. А как с этим делом у Вас? Вы помните, какие карты из колоды Вам уже выпадали?

— А Вы думаете, у меня в запредельном эфире на стене висит календарь, из которого я вычеркиваю каждый прожитый день? Может, конечно, и висит, только я об этом не знаю.

— Но память, память о прошедших днях? С ней-то как быть? Не случалось попадать впросак? И никому ведь не объяснишь, что Ваше накануне было совсем другим, а календарное вчера еще не прожито.

— Да, память — это загадка. Загадка из загадок. Даже для Вас и таких, как Вы, а уж тем более — для меня. Не случалось просыпаться по утрам с ощущением, что Вас опустили в чужое тело и запихнули в чужую жизнь? А тот субъект, который сейчас тарашится на Вас из зеркала, — кто угодно, но только не Вы? Да, Вы знаете, как его зовут и кто его друзья, Вы знаете множество фактов из его жизни, больших и маленьких, важных и не очень, но Вы их выучили: прочитали, запомнили, вызубрили наизусть, — но не пережили по-настоящему, не пропустили через себя. Душа Ваша в этой вызубренной жизни участия не принимала. Никогда не случилось? А у меня каждое утро — вот так.

Память сложна, память многомерна и многослойна, как Ваша, так и моя. Откуда больной амнезией в совершенстве

помнит родной язык и множество бытовых мелочей? Откуда маленький ребенок, впервые осознавая себя в этом мире, уже точно знает, которая из женщин – его мать? И не надо так на меня смотреть, я об этом читала и болтала с друзьями. А как бывает в хорошем сне? С первого мгновения Вы сразу встраиваетесь в картинку и сразу ощущаете свое новое, мифическое «я», о котором Вам уже почему-то известно довольно много. Наверное, это самый внутренний, самый крепкий слой нашей памяти, то, что нельзя отнять. Общий фон, общее знание о том мире, внутри которого нам доведется жить. В моем случае – это когда я знаю, что родилась, училась, получила высшее техническое образование, какое-то время делала проекты для строительной фирмы, вышла замуж, а потом убила человека и оказалась здесь, где меня заразили туберкулезом в форме, устойчивой к антибиотикам. Это моя профессия и умение готовить суп. Уже достаточно, чтобы встроиться в каждый новый день. Да, на воле считали, что у меня чудовищная память на лица и имена, я всегда славилась своей рассеянностью, но разве рассеянный человек – такая уж редкость?

Есть память о прожитых днях. Дни уходят в прошлое, и память ослабевает. Вы во всех подробностях помните свое вчера, свое позавчера; прошлую неделю – уже несколько смутно, ну а то, что было лет десять назад – только в самых общих чертах. Я неплохо помню вчерашний экзаменационный билет, чуть похуже – вкус позавчерашней манной каши в детском саду и семейную сцену с мужем третьего дня. События бледнеют, лица отдаляются, и порой я сама не знаю, прожила я какой-то из своих дней или нет. Понимаете, в моей жизни есть и важные, очень важные события, настолько яркие, что я помню о них всегда, даже если пережить их мне еще предстоит. Они прорастают вглубь, на внутренний слой. — Я не стала упоминать о том, что одно очень важное событие, перевернувшее всю мою жизнь, я почему-то не помню. Ничего важнее в моей жизни не было и не будет, но я не помню.

— И для Вас на этом рассказ завершен, но со мной не настолько просто. Есть и другая память, еще один слой, больше связанный не с душой, а с телом. Сами понимаете, мое тело, как и все тела на свете, хранит царапины и болячки, оставшиеся с предыдущего дня, неважно, прожила я этот предыдущий день или нет. Вот и внутри моих воспоминаний тоже спрятан какой-то поверхностный слой, хранящий неглубокий след моего календарного вчера. Мелкие мысли и факты, но не душу, не чувства. То, что не прожито, а будто бы вызубрено наизусть. Я не знаю, почему так, но, учась в школе, я всегда представляю себе содержание вчерашних уроков, может, не совсем до мелочей, однако до тех подробностей, которые обычно хранятся в мозгу недолго и выветриваются из него за несколько дней. Непонятно как, но я помню и всякие бытовые детали предыдущего дня. Вот сейчас, выплевывая себе на ладони собственную кровь, я прекрасно знаю, что эти маленькие твердые комочки другого цвета, такие резиновые на ощупь — это кусочки моих легких, и поначалу, много дней назад, я пыталась проглатывать их обратно, хотя Ваши коллеги и объясняли мне, что это бессмысленно. Откуда я это знаю?

Конечно, бывает и по-другому, память тела подводит, — чего нельзя сказать про память души. Бывает, мне просто необходимо вспомнить мелкий факт из вчерашнего дня: не настоящего, моего, вчера, а вашего, календарного, — но откуда. Не вспоминается, и все тут. Выкручиваюсь, как могу, по вечерам пишу себе записки, оставляю в укромных местах. Я привыкла, мне нормально, я так живу.

— Кстати, а насколько быстро Вы поняли, что не такая, как все? — Он вновь заговорил с мягкой вежливостью психиатра. Я взглянула на него еще раз и вдруг заметила, что врач носит очки. Странно, мне показалось, что поначалу очков не было. Более того, он даже снял медицинскую маску, и я увидела гладенькое лицо отличника, в нижней своей части еще сохранившее какую-то детскость.

— Вот она, ошибка, типичная ошибка человека, живущего во времени подряд! Для меня не существует такой вещи,

как «что-то понять». Есть факты, о которых я знаю всегда, есть факты, о которых я никогда не узнаю. И есть мелкие повседневные подробности, о которых я узнаю в момент проживания, чтобы потом забыть. О том, что я не такая, как все, я знаю вечно и бесконечно.

— И что, Вы этим довольны? Вы счастливы?

— Довольна ли я? Не скажу. Каждый день я стараюсь придумать для себя причину, по которой я буду любить этот день и захочу вернуться. Вот наш с Вами, к примеру, разговор. Да и какая разница! Сейчас Вы приметесь рассказывать мне о том, что так жить нельзя. Допустим, я Вам поверю. И что прикажете делать? Изменить свою жизнь я всё равно не смогу, это зависит не от меня. С таким же успехом попытайтесь поменять свое прошлое. Хорошо, сейчас я умру, но ведь потом-то проснусь опять, на другом отрезке своего существования, в другом дне!

— Изменить свою жизнь Вы не сможете. А Вам никогда не хотелось разгадать свой секрет?

— Хотелось, конечно, почему же не хотелось. Точнее, хочется, потому что для меня прошедшее время так же неуместно, как и будущее. Как занесет в период гормонального взрыва, ну, в эти, в бунтарские 15–16 лет, так каждый раз до смерти хочется разгадать свою тайну и даже верится, будто смогу. Смешной все-таки возраст: чувствуешь себя повелительницей Вселенной, а на самом деле — просто гормоны. Так сказать, мечтаю ухватить Господа Бога за бороду или хотя бы узнать, кто же этот негодяй-кукловод, который дергает меня за веревочки и назначает чередование моих дней. Вообще-то иногда я вижу во сне его глаза. Только глаза, ничего больше. А потом, просыпаясь, понимаю, что эти глаза очень похожи на мои, когда они в зеркале. Да, я хочу узнать, что происходит со мной в этот таинственный момент засыпания, самый таинственный на свете. Но, согласитесь, это всё равно, что разгадать загадку жизни или открыть секреты Вселенной. Столь же заманчиво и столь же безнадежно. Кроме того, я уверена, что собствен-

ной тайны мне не раскрыть: иначе бы я непременно это запомнила.

— И, заметьте, Вы абсолютно уверены в своей уникальности. А, собственно, почему? Как минимум, такие вещи должны передаваться по наследству.

— Давайте прикинем, а как вообще люди узнают, что происходит внутри у других людей? Ведут откровенные разговоры? В детстве, по ночам, когда рядом нет взрослых, вцепившись друг в друга от страха, замогильным голосом поверяют сокровенные тайны. А потом — на кухнях, приканчивая очередную бутылку с чем-нибудь горячительным. Или во время секса. По крайней мере, так было у меня. И никто еще ни разу не рассказал мне того, о чем сейчас говорю Вам я. А Вы хоть раз услышали что-либо подобное от своих пациентов? Перед смертью люди откровенны как никогда, но ведь Вы сейчас не киваете мне головой! Ни разу еще в книге мне не попался герой, похожий на меня, не видела я таких и в кино. Конечно, я не могу дать стопроцентной гарантии, что все остальные люди живут по порядку. Но все-таки похоже на то. А насчет наследства... У меня был сын, но он заболел и умер. Гнойный менингит, у него не было шансов. Это случилось настолько рано, что никто не смог бы сказать, как он прочувствовал свою жизнь, подряд или не подряд. Я и своего младенчества не понимаю и не помню. Иногда у меня с утра возникает смутное чувство, что где-то между засыпанием и пробуждением, между двумя осознанными днями моей жизни втиснулся еще один день, день бессознательного младенчества, которого я не помню, потому что была в этот день слишком мала. — Я вновь ощутила безмерную усталость, говорить становилось всё труднее, похоже, действие укола закончилось и время мое истекало.

— Мы ведь начали с разговора о смерти, не так ли? С того, что я ее не боюсь, а большинство людей боится, хотя никто из живых не знает, зло она или благо. По сути, смерть — это азартная игра, единственная настоящая азартная игра на белом свете, в которую Вы сыграете только один раз, только

когда будете умирать. Смерть — это одновременно и ваша великая надежда, и ваш величайший страх. Вы играете в кости со смертью, а у меня другие риски. Я каждый раз, ложась спать, загадываю, в который из дней мне суждено проснуться. Я каждый раз играю в кости со смертью, когда засыпаю, потому что каждый день может стать для меня последним, а даже если и не последним, то я всё равно не знаю, где проснусь поутру. Я каждый вечер представляю, как невидимая рука опять тасует колоду и сдает мне карты на завтра. Для меня этот риск — дело обычное, я привыкла к нему, как привыкает солдат на войне, я не боюсь. — Я поняла, что говорю всё тише и всё медленнее. — Извините, я должна отдохнуть. Очень хочется спать.

Я удивилась себе самой. Почему мне до сих пор хватает сил вести разговор? Произносить такие длинные фразы. Я должна была захлебнуться кашлем, еще не добравшись до середины этого странного интервью. Что-то неправильное было во всём происходящем. Врач слишком ловко и быстро разобрался в моей ситуации. Он задавал очень верные, чересчур уместные вопросы. Те, которые я давно хотела услышать. Неужели врач — это я? Персонаж, придуманный мной для потехи? И весь разговор случился у меня в голове?

В палату вошла медсестра, чтобы поставить мне еще один укол и провести кое-какие унизительные гигиенические процедуры, на которые сама я уже была неспособна. Вся постель сделалась мокрой от моего пота. Заношенная пижама, простыни, подушка, даже матрас — промокло всё насквозь, но никто не спешил поменять мне белье. Наверное, после моей смерти его сожгут, как последнюю память обо мне. Доктор тем временем куда-то исчез, а я всё гадала, случился ли наш с ним разговор на самом деле или это игра моего умирающего «я». Уже засыпая, я услышала в коридоре мужской голос, кажется, голос врача: «И чего только не придумывают больные, лишь бы избежать предсмертного ужаса. Сколько слушаю, столько удивляюсь». Значит, разговор был, он был настоящий, хотя бы в своем начале. И доктор мне не

поверил. Впрочем, глупо ожидать, что поверит. Каждый верит только в то, во что ему хочется. А того, о чем рассказала я, попросту не может быть никогда — словно его упорядоченное по дням существование не является еще большим чудом, чем мое, раздрызганное во времени. Однако этот врач будет думать обо мне, он запомнит мои слова. Пожалуй, эта мысль меня немного обрадовала — и вот тут началось.

Пальцы рук и нижняя часть лица отчего-то сделались чужими, словно они существовали отдельно от меня. Мне вдруг почудилось, что они разбухают, как шарики, накачанные газировкой. Сердце пустилось вскачь: я ощущала, как оно сильно и беспорядочно бьется. А в следующий момент я стала по-настоящему задыхаться. В том смысле, что воздуха уже не хватало, очень не хватало, но сделать вдох не удавалось никак. Впрочем, я всегда знала, как именно мне предстоит умереть, и у меня было время на подготовку. Главное сейчас — не паниковать и не метаться по постели, хотя метаться хотелось, очень хотелось. Воздуха всё равно больше не будет. Потом, как и следовало ожидать, стеснение в груди превратилось в пожар, и одновременно я ощутила покалывание в кончиках пальцев, как будто туда закачали пузырьки горячего воздуха и теперь они просились наружу, прожигали себе путь на поверхность. Я постаралась не двигаться, чтобы сознание угасло как можно быстрее. И каждый раз, стоило мне подумать: «Ну и ладно, это еще можно стерпеть, это не так уж страшно», — мне становилось еще немножко хуже, еще немножко страшнее, и всё же терпимо. Стоило ли говорить врачу — каким бы фантастическим ни выдался наш разговор — о главной причине, по которой я была твердо уверена, что моя жизнь закончится не сегодня? Дело в том, что я совершенно не помнила один день из моей биографии, очень важный для меня день, может быть, самый важный на свете. День, когда я убила человека. Такое не забывается, и если я не помнила этого дня, значит, его в моей жизни пока еще не случилось.

Обычно, засыпая, я каждый раз загадываю себе, где и когда мне суждено проснуться. Наверное, это тоже разновид-

ность молитвы, обращение к Господу Богу. Моему личному Богу. Как и с любой молитвой, достучаться до небес удавалось далеко не всегда. Но, как и любой человек, верующий или неверующий, я продолжала молиться. На всякий случай. Сегодня сосредоточиться было сложнее, чем раньше, но всё же, борясь с мучительным желанием сделать вдох любой ценой, я тоже решила что-нибудь загадать. Впрочем, в голову приходило только одно: не в тюрьме. Где угодно, когда угодно, но только до того, как я убила человека и попала в тюрьму. Уже совсем напоследок я услышала голос, который звал меня по имени. И это не был голос моего врача. Меня звал другой человек: мужчина, который никак не может здесь находиться. Потому что он уже мертв.

День второй

ТОЖЕ ЛЮБОВЬ

Я проснулась и подумала, что имело смысл рассказать врачу о моих снах. Интересно, сколько раз мне снился и сколько раз еще будет сниться один и тот же человек, мужчина, стоящий у изголовья моей кровати? И смотрящий на меня с невыносимой нежностью, именно потому, что он уверен: я не вижу его, я не знаю, что он на меня смотрит. Человек, которого я убила.

Приоткрыв глаза, я поняла, что желание мое исполнилось: сегодня я не в тюрьме. Кроме того, сегодня я проснулась не одна, и рядом со мной в кровати лежал другой человек. Мужчина. Его руки казались немного белее ног, но темнота поглощала и руки, и ноги. Нет, это был не тот, кто снится мне по ночам, не тот, кто только что звал меня по имени. Это был другой. Помоложе. Попроще. Мой муж. Выходит, сейчас я замужем. Или мы еще не женаты? Что ж, вчера мое тело было страшным жупелом, источником смертельной заразы, и от меня шарахались даже выдавшие виды медицинские работники. Прикасаться ко мне они старались только в перчатках. А сегодня плоть моя сделалась молодой, желанной и сочной, невольным центром притяжения страстей. Я не могла с уверенностью сказать, что радуюсь такой крутой перемене. Вчерашний врач хотя бы видел во мне человека. Именно потому, что женщину во мне он не видел.

Я постаралась разлепить глаза и поточнее определить, в каком возрасте нахожусь. Даже в полутьме просматривалась хорошо знакомая обстановка нашей съемной квартиры. Мы жили в ней всё время, от свадьбы до моего ареста. Мел-

кого — так называли мы между собой нашего сына — в квартире не было. Я, как любая нормальная мать, инстинктивно ощутила бы его присутствие. Оставалось понять одно: его еще нет или его уже нет рядом со мной.

А что если **это** — день, очутиться в котором я боюсь больше всего на свете, — наступит сегодня? Могут ли мне выпасть два знаменательных дня подряд: день смерти и день убийства? Шансов мало, но все-таки...

Резким, чересчур резким движением я убрала одеяло, задрала ночную рубашку и внимательно осмотрела живот. Наш ребенок, тот, который впоследствии заболеет и умрет, еще не родился. Шрама, который остался мне на память о родах, пока еще не было. Значит, сегодня еще не **тот** день, и вообще до **того** дня пока еще далеко. Зато Марсик проснулся. Проснулся и включил свет ночника.

Вообще-то моего мужа звали Марсель, но мне нравилось имя Марсик, и он постепенно смирился. Иногда мне до ужаса хотелось обозвать его Мурзиком, однако я понимала, что уж на эту кошачью кличку он точно смертельно обидится. У него было ничем не примечательное гладенькое лицо отличника, в нижней своей части, в складках губ сохранившее какую-то детскость, а сейчас еще и заспанные глаза. Он тоже взглянул на мой живот и протянул руку. Наверное, вообразил себе, что я пытаюсь найти на своем теле следы прошедшей ночи, похоже, довольно бурной.

— Чего-то хочешь? — пробормотал он голосом, хриплым со сна.

— Думаешь, я могу еще чего-то хотеть? После всего, что случилось вчера? — видимо, я угадала, потому что он расплылся в жутко довольной улыбке и обнял меня как-то особеннно, можно сказать, по-хозяйски.

— После всего, что случилось вчера... Слушай, как же я люблю тебя! — говоря о любви, он всегда сыпал банальностями, и меня это всегда раздражало. Нет, я понимала, что муж мой вовсе не глуп, что косноязычие нападает на него только тогда, когда есть необходимость выразить нежные

чувства, но всё же он меня раздражал. Вот и сейчас мне даже стало интересно, что же такого неслыханного случилось между нами вчера ночью, чего не бывает с другими людьми. Из-за его плеча я попыталась еще раз разглядеть обстановку. Непохоже, что это наша первая совместная ночь. Мы уже женаты, причем женаты довольно давно.

Обычно я воспринимала мужа с симпатией, но сейчас от его объятий мне вдруг сделалось нехорошо. Так иногда случалось. Я словно бы увидела себя чужими глазами, сверху и со стороны, молодую женщину, обнимающую в постели молодого голого парня, и чудовищная пустота происходящего наполнила меня изнутри. Внутренне я вся съежилась. Это означало, что мысленно я отпрянула от него и забилась в угол кровати, как испуганный зверь, хотя внешне всё оставалось, как прежде. Что я здесь делаю? И зачем? Для чего позволяю себя целовать этому, в сущности, чужому мужчине? Далекому от меня, как другая планета. Не знающему обо мне **ничего!** В такие моменты — я называю их «укол пустоты» — я и сама себя не понимала. Разве мой муж мне чужой? Я не хотела делиться с ним растерянностью и пустотой и поэтому обняла как можно сильнее. Я давно уже поняла, что притворную нежность гораздо проще сыграть объятием, а не голосом или взглядом. Всякая близость тел и сжимание рук очень помогают скрыть настоящие чувства, а особенно — отсутствие чувств. По крайней мере, мой муж сейчас не видит мое лицо. Не исключено, что Марсик тоже знал эту правду про объятия, потому что он обнял меня крепко, очень крепко, до хруста, и прошептал очередную банальность:

— Ты моя судьба! Я это понял вчера. — Вообще-то довольно забавно для уже женатых людей. Наверное, если бы я действительно любила его, все его глупости звучали бы по-другому. Однако мои чувства к нему были куда сложнее и горше, чем просто юношеская любовь. Я знала о жизни намного больше его; я была во много раз хуже. И что же все-таки случилось между нами вчера?

— Я так люблю тебя!

Я не сказала: «Я тоже люблю тебя!» — в ответ. Я ни разу не произнесла перед ним этого слова, «люблю». Впрочем, я никогда и никому не говорила этого слова. Но романтический эпизод затянулся, настала пора его завершать. Спасительный звон будильника был чрезвычайно кстати.

— Марсик, мы опоздаем на работу! Да ты задушишь меня! Ну хватит, пойдем завтракать! — я попыталась придать голосу нежность. Какое счастье, что мой муж, как всякий нормальный мужчина, интонаций не замечал.

Пока Марсик брился в ванной, я приготовила завтрак и окончательно сориентировалась в происходящем, даже радуясь тому, что мой муж, как всякий нормальный мужчина, и подумать не мог о том, что ванная по утрам нужна не ему одному. Зато я по утрам получала возможность побыть наедине с собой. С Марсиком мне всё время было неловко, и чувство вины, будто я его обманула, не покидало меня никогда. Почему я все-таки вышла за него замуж? Впрочем, разве это решение зависело от меня? Я знала, всегда знала, что Марсик — мой муж. Во многих отношениях он нравился мне: обаятельный, неглупый и неконфликтный. Пожалуй, он любил меня чуть-чуть сильнее, чем я его. И все-таки я была рада, что наша совместная жизнь оказалась такой недолгой.

Выходя на улицу, я уже знала, что на дворе конец зимы, что мы действительно женаты несколько лет, но на работу пока еще ходим пешком. К счастью, в разные стороны, и у меня есть дополнительный шанс побыть в одиночестве. До появления Мелкого оставалось менее года. Не исключено, что уже сейчас я беременна, но пока что сама об этом не знаю. Моя профессия, как бы сложно она ни называлась, содержит важное слово «инженер», и это позволяет мне участвовать в разработке проектов для одной строительной фи-

рмы. А Марсик у меня программист, и пока что его заработки оставляют желать лучшего, поэтому вскоре после рождения Мелкого мне придется выходить на работу, оставив младенца на попечение бабушек. Расцвет программистов наступит несколько позже, и незадолго до моего ареста мы позволим себе кредит на автомобиль. Я искренне надеялась, что потом, в какой-нибудь новой семье, Марсик будет богат, доволен и счастлив, но уже без меня.

Наш город, как и весь этот период моей жизни, никогда не слишком симпатичный, сегодня показался мне особенно мерзким. Снег, который старательно сгребали к краям дороги и оставляли там до весны, уже пропитался грязью и своим цветом почему-то напоминал мне простыни в тюремной больнице. Узкая тропинка, протоптанная моими предшественниками, петляла среди этого грязного, наполовину талого снега, перемешанного с землей. В некоторых местах меня окружали серые кучи высотой в человеческий рост. А сверху, с небес, очень медленно падал редкий белый снежок, точно после конца света или ядерной катастрофы. Внизу люди бежали по своим подлым и глупым человеческим делам, спеша заполнить собственную жизнь иллюзией значимости. На их фоне я выглядела объектом неживой природы: в моем существовании тоже нет и не может быть определенной цели, потому что я лишена неумолимого продвиженья вперед, вечно желанное завтра.

Над зданием, куда я пришла работать сразу после института, весело горели иностранные буквы. Ну да, примерно полгода назад объемный пакет наших акций выкупил один навороченный западный холдинг, и теперь по нашим коридорам в изобилии бродили представители высшей цивилизации, безуспешно пытавшиеся цивилизовать нас. За глаза мы звали их пингвинами, за привычку расхаживать повсю-

ду в черной тройке и снежно-белой сорочке и лопотать что-то на своем отрывистом языке, непонятном для большинства сотрудников. Пингвины всё время старались укрепить нашу дисциплину и поддержать корпоративный дух, то, как в последнее время, коллективным пением гимна, то поголовным досмотром на предмет бритья волос на разных интимных местах и чтением лекций о личной гигиене. Видимо, ничто не укрепляет корпоративный дух настолько сильно, как участие в коллективном унижении на глазах друг у друга. У меня было преимущество: я знала, что это сумасшествие продлится недолго, всего пару лет, а потом инвесторы уйдут, разочаровавшись в наших способностях. Было у меня и еще одно преимущество: я точно знала, что меня не уволят, по крайней мере, сейчас.

На зарплате тлетворное влияние Запада пока что сказывалось положительно, а вот на общей атмосфере — как раз наоборот. Пингвины приказали нам понаставить прозрачных перегородок, чтобы каждый сотрудник мог видеть, чем занимаются на работе его коллеги, и ввели множество других дурацких корпоративных обычаев. Кстати, кондиционеры, положенные в таких случаях, нам так и не сделали, ссылаясь на отсутствие средств, из-за чего летом в помещениях царил несусветная жара, а зимой — нестерпимый холод. Всё это вместе взятое мы за глаза именовали «шоу “За стеклом”».

Из-за сегодняшних крепких объятий с мужем я чуть не опоздала к обязательному исполнению гимна. Не государственного, конечно, а гимна нашей корпорации. В последнее время каждый рабочий день у нас действительно начинался с коллективного песнопения в просторном холле первого этажа. Люди были не в восторге, но и возражать никто не посмел: не терять же работу из-за каждого пустяка! Опоздание и любое уклонение от процедуры грозило штрафом, придуманным специально на этот случай. Вот и сегодня, взявшись за руки, мы фальшиво запели: «Славься, наш холдинг родной!» Два раза хлопнуть в ладоши, отбивая такт правой

ногой, потом поднять руки вверх и помахать кистями. В отличие от государственного гимна этот должен был сопровождаться обязательными телодвижениями, и специальный сотрудник по работе с персоналом стоял и отслеживал, насколько старательно мы танцуем. Я не знаю, кто придумывал жесты. Наверное, пингвины взяли за основу какой-то свой древний танец. Считалось, что наше пение чрезвычайно укрепляет корпоративный дух, а заодно заменяет утреннюю гимнастику. «Никогда тебя я не покину!» Подпрыгнуть на правой ноге, потом на левой, и три быстрых хлопка в ладоши. Особенно комично смотрелись сотрудники в возрасте, не обделенные лишним весом. Мне всегда казалось, что таким способом наши новые хозяева стремятся повязать нас друг с другом, будто преступников, ведь теперь каждого из нас с коллегами связывает не только общее дело, но и общий позор. Между прочим, весьма разумный подход.

Наконец, мы дружно поаплодировали друг другу и поздравили всех с началом нового рабочего дня. Теперь мы имели право разойтись по своим этажам и перейти к повседневной рутине. Для меня это было чуть-чуть посложнее, чем для всех остальных, ведь мне предстояло быстренько сообразить, на чем именно я остановила свою работу якобы вчера. Впрочем, я умела с этим справляться.

Маленькая клетушка со стеклянными стенами, заменившая мне на какое-то время личный кабинет, вся была оклеена плакатами на неизвестных мне языках Средней Азии. Увидев их, я невольно улыбнулась. Я помнила, откуда они взялись. Не так давно наши зарубежные инвесторы приказали нам всем — в рамках психологического тренинга персонала — выписать на бумажках свои заветные мечты и развесить на рабочих местах, так, чтобы мы постоянно натыкались на них взглядом в процессе работы. Заветные мечты, разумеется, непременно были связаны с делами фирмы, иначе никак. Ни разу не увидела у коллег на столе объявления «Замуж охота!» или «Вот бы забраться под юбку к Люсе!». Мне, как и всем остальным, совершенно не улыбалось

выставлять напоказ свои лживые заботы о карьерном росте в любимой компании, и я нашла очень неожиданный выход. Я попросила Марсика вспомнить о своих восточных корнях и написать наши с ним излюбленные пожелания то ли по-узбекски, то ли по-таджикски, точно не помню, лишь бы перевести их было нельзя. Инвесторам я объяснила, что заветные мечты необходимо писать на том языке, который лучше всего воздействует на подсознание, и возражать они не посмели. Так что теперь надо мной красовались лозунги «Мне нужно сына, но можно и дочку!» и «Когда же мы купим машину?». Правда, я не помнила, где какой.

Перебирая вчерашние — якобы вчерашние — бумаги, я увидела, что на полях одного из счетов от поставщика есть карандашная приписка: «Разобраться, что за фирма». Подчерк был мой. Конечно, я всегда так поступаю, пишу сама себе записки, если боюсь, что на следующий день — который для меня вовсе не следующий, а неизвестно какой — я уже не вспомню чего-нибудь важного. Я не очень понимала, как в мои документы затесался именно этот счет, кстати, уже прошедший через нашу бухгалтерию. Подпись была мне знакома: молодая сотрудница, без опыта, без квалификации, но зато она громче всех и с подвизгиванием исполняла по утрам гимн, а также активно участвовала в прочих столь же радостных мероприятиях. Похоже, такая подпишет всё, что угодно, и даже не заподозрит подвох. Или очень ловко притворится.

Фирма-поставщик именовалась «Иннофурнитура», что можно было расшифровать и как «иностранная», и как «инновационная». Я сразу поняла, что счет, скорее всего, вызвал у меня подозрение чрезмерно высокими ценами на товар. В конце концов, я знала, сколько в среднем стоит фурнитура в моих проектах. Впрочем, я бы не стала вмешиваться в чужие дела, если бы не эта записка, сделанная моей собственной рукой, и если бы не муж-программист, имеющий доступ к любым базам данных, потому что как раз он и занимается их разработкой. Ну что мне стоит позвонить Марсику на ра-

боту! Конечно, пингвины уже грозились поставить наши телефоны на прослушку, чтобы мы не болтали на работе по пустякам, но у меня-то вопрос чисто служебный! Марсик, как ни странно, даже не удивился моей просьбе и очень быстро перезвонил, продиктовав мне и адрес, и все прочие номера. Фирма была создана совсем недавно, буквально с месяц назад, и это настораживало меня еще больше. На всякий случай я скопировала подозрительный счет, надеясь поработать с ним дома, когда вокруг не будет стеклянных стен. Скопировала и убрала к себе в сумку. На выходе нас не обыскивали. Если честно, сперва пингвины пытались устраивать нам корпоративный досмотр, но быстро бросили это начинание, расценив его как затратное и заведомо бесполезное.

— Не стесняйтесь торговать собой! Не бойтесь торговать собой! Мы должны отбросить эту советскую стыдливость и назвать вещи своими именами. Да, мы продаем себя, свой талант, свою квалификацию, так научимся правильно это делать!

Мне крупно повезло закончить все расчеты по проекту еще до обеда, потому что после обеда повседневную рутину пришлось прервать ради еще одного оздоровительного мероприятия. На сей раз нам приказали прослушать курс лекций по самомаркетингу. В переводе на русский язык — по искусству торговли собой. Лектором была женщина средних лет — русская, но работавшая на забугорных инвесторов и торговавшая собой, судя по ее виду, уже давно и довольно профессионально. Говорила она жестко, напористо, как человек, который недавно узнал единственный на белом свете секрет всеобщего счастья и теперь жаждет им поделиться. Такие слова, как «свобода» и «демократия», то и дело слетали с ее языка. Слушатель понаивнее мог даже подумать, что

она озвучивает свои собственные сокровенные мысли. К сожалению, я помнила эту женщину. Я знавала ее в лучшие времена, когда она была малость моложе и лихо торговала собой, исполняя у нас в школе обязанности пионервожатой. До сих пор помню, как она призывала детей любить пролетарскую Родину и бороться за коммунизм, с теми же жестами и теми же интонациями, что и сейчас. Действительно, зачем тратить время и силы на отработку новой моторики? Как бы парадоксально это ни звучало, я не осуждала ее: призыванием этой женщины и ее единственным талантом всегда было умение облекать в изящную упаковку чужие идеи, выдавая их за свои, придавать им товарный вид, чем она, собственно, всю жизнь и занималась. Меня она, к счастью, не узнала, все-таки прошло десять с лишним лет, а я для нее была обычной рядовой школьницей. В какой-то момент мне надоело слушать, и, глядя на новый логотип нашей фирмы, я представила себе этот идеальный мир абсолютно свободных людей, без усталости торгующих собой. Дети с младенчества учились сбивать цену на грудное молоко и материнскую ласку. Учителя в школе наперебой зазывали в свои кабинеты учеников, обещая, что именно их предмет познакомит детей с чем-то неслыханным. Весь процесс найма на работу сводился к эмоциональному воспроизведению двух фраз: «Дороже не куплю!» и «Дешевле не продам!». Женихи и невесты устраивали взаимные аукционы, а врачи торговались у постели больного, решая, кто и за сколько будет его лечить. И финальный штрих: тело покойного уходит с молотка под крики гробовщиков, рвущих друг у друга из рук выгодный заказ, пока безутешные родственники вскрывают дрожащими пальцами его завещание.

После лекции выяснилось, что сегодня настала наша очередь пройти корпоративный психологический тренинг. Это означало, что все сотрудники моего отдела, все двенадцать человек, собрались в кружок, дабы под присмотром бывшей пионервожатой рассказать друг другу, как мы преданы корпорации, как мы денно и нощно блюдем ее интересы. Каж-

дый из сотрудников должен был регулярно придумывать какое-нибудь новшество, позволяющее нам работать еще лучше, чем мы работали до сих пор. Люди мялись и краснели, а потом нехотя, отводя глаза в сторону, мямлили что-то об организации рабочего стола, о преимуществах общения по интернету и прочую дребедень. Еще один коллективный позор, укрепляющий корпоративный дух, или, как выразился кто-то из классиков, «ничто не объединяет людей так, как совместное участие в преступлении». Слушая одного за другим своих коллег, серьезных и уважаемых специалистов, вынужденных нести этот несусветный бред, я почувствовала, как в груди у меня закипает нечто вроде серной кислоты и горло само собой сжимается от негодования. Ощущение было не таким, как вчерашняя агония, но в некотором смысле даже мучительнее. В какой-то момент омерзение и презрение к самой себе зашкалили, и я поняла: к сожалению, смолчать не удастся. Во мне проснулся разрушительный демон, всё время мешающий мне стать покорным звеном человеческого стада. В конце концов, поддаваться тому, что нашептывает этот злой дух, всегда было одним из главных наслаждений моей жизни. Строго говоря, в моей задаче сейчас не было ничего сложного: просто открыть рот и сказать несколько слов. Да, слов крайне неприятных и неожиданных для окружающих меня людей, но ведь это не мешки с цементом таскать и не прыгать с шестом в высоту. Конечно, мне несколько проще, чем всем остальным: я знаю, что сейчас меня не уволят, а если и оштрафуют, то наша семья от этого в финансовую пропасть не рухнет. Поэтому, когда очередь дошла до моей табуретки и бессмысленные лица окружающих обратились ко мне, я равнодушно произнесла: «А меня вчера, сразу после работы, муж потащил в постель и не отпускал до утра. Уж извините, но, понимаете, мы молодожены и очень хотим ребенка. Однако всё это время я, не переставая, думала об интересах корпорации!» Пионервожатая на несколько секунд онемела. У кого-то из коллег вырвался сдавленный смешок. А я сидела с самым доброжелательным

выражением лица, якобы не понимая, что именно сказала не так. Как ни странно, наша руководительница утратила всю свою деланную искренность и весь свой напор, видимо, от неожиданности. Вместо разгневанного панегирика я услышала обычное бабское кудахтанье, в терминах, которые были одинаково уместны и на комсомольском собрании, и на тренинге будущих бизнесменов: «плюешь на интересы коллектива», «пренебрегаешь общественной жизнью», «наглость, граничащая с хамством». Наконец, раздался финальный аккорд:

— Если Вы продолжите вести себя в коллективе столь же нахально, я без труда могу предсказать Вам, что Вы умрете в нищете под забором.

О, если бы я умерла в нищете под забором! Но ведь всё будет совсем не так! Я вспомнила снимки, которые мне показывал следователь. Струйка крови, почему-то на губах, и безмерно удивленный взгляд, направленный на меня, только на меня, — даже с фотографии. Взгляд, словно бы спрашивающий: «За что?».

— К сожалению, это неправда, — тихо и грустно ответила я. — Насчет забора. Я скончаюсь от туберкулеза в тюремной больнице, когда буду отбывать срок за убийство, — конечно, мне не стоило этого говорить.

— А пойдете-ка к Вашему начальнику! — рявкнула, наконец, пришедшая в себя пионервожатая. — Пусть он решает, нужны ли ему такие сотрудники.

Да со всем удовольствием! Почему бы и нет? Я же знаю, что ничего особенного не случится. А если б не знала? Как бы я рассуждала тогда? Просто верила, что Штурман не сможет меня предать и поэтому не уволит?

Я привыкла ходить очень быстро, так что моя провожатая вскоре отстала, и я очутилась в блаженном одиночестве кор-

поративного коридора. Мне нравилось здесь гулять. Светло-зеленые стены в сочетании с белоснежным потолком создавали ощущение стерильности и другого мира, где всё — кубы, углы и металл. Мне вдруг показалось, что это путь на другую планету. Путь к нему. Путь домой, если понимать под домом то место, где хочется остаться навсегда, где нас ждет забытый уют и нечто настоящее.

Что за глупости лезут в голову! Я постаралась встряхнуться. На самом деле меня ждал кабинет начальства. Меня ждал Штурман, и мы, конечно же, снова поссоримся. Очередной раунд нашей с ним вечной войны. Очередные сплетни о наших взаимоотношениях среди озабоченных сотрудниц. Сплетни, кстати, совершенно безосновательные: максимум, что случилось между нами, — это протокольное пожатие рук на публике, когда мне вручали какую-то глупую премию.

Вообще, фамилия моего непосредственного начальника звучала немного иначе: Штурмов, — однако нетрудно понять, что по фамилии его мало кто называл. В качестве босса он был не настолько уж плох, склонности к деспотизму не имел, под женские юбки не лазил, алкоголизмом не блистал. Любовь к перекладыванию своих обязанностей на чужие плечи — грех довольно распространенный, и особенного ропота по этому поводу с нашей стороны не случилось. Не знаю почему, но одним из его слабых мест, похоже, считалась я. Впрочем, сегодня он и без меня выглядел раздраженным.

— И что же на этот раз? Что Вы опять изволили натворить, сударыня? — услышала я вместо «здравствуйте», хотя с утра мы еще не виделись с ним. Я заметила, конечно, что Штурман не стал обращаться ко мне по имени, но это ничего не значило. Ко мне вообще очень редко обращались по имени, наверное, потому что я и сама редко помнила имена собеседников. Впрочем, сейчас мне не было дела до этих нюансов: я прислушивалась к своим ощущениям, гадая, что сегодня почувствую от встречи с ним. Увы, ничего особенного. Видимо, он меня больше не волновал.

Я доложила Штурману о своем проступке по-солдатски, со всей возможной точностью и простотой.

— Будучи на психологическом тренинге, на этом, по методике профессора Хайбердеккера, я изволила сказать, что весь предыдущий день не переставала думать об интересах корпорации, даже в тот момент, когда мой муж вступил в свои супружеские права. Не знаю, почему ученики профессора Хайбердеккера сочли это непристойным, вроде все собравшиеся отличались совершеннолетием.

— Мне кажется, что профессора звали как-то иначе, — тяжело вздохнул мой босс.

— Не знаю, не знаю, моя слабая память с трудом удерживает подобные имена.

— Короче, всё как всегда, — Штурман слегка побелел, он всегда бледнел, когда злился, и мне всегда было смешно на него смотреть. Смешной и трогательный. Конечно, мне сейчас было легче, чем ему, ведь я ничего не чувствовала, а он, похоже, переживал. И ударить меня нельзя, потому что я все-таки женщина, и ругаться бесполезно, в словесных баталиях всегда побеждаю я. Интересно, что его так разозлило: мое хамство в адрес инвесторов или марсиковы супружеские права?

Я не стала ничего отвечать, просто стояла и смотрела на него. Я знала, что мой пристальный взгляд, как правило, беспокоит мужчин и сбивает их с толку, а мужское смущение всегда меня забавляло. Штурман был старше меня лет на 10–15, и возраст уже начал сказываться на нем. Я изучала знакомые черты лица, злую улыбку, глаза непонятного цвета. Темные круги под его глазами всегда наводили меня на мысль о чем-то непристойном, даже порочном, хотя на самом деле они означали просто проблемы с сердцем, не более того. У меня было оправдание: я ждала, когда подтянется отставшая психологиня.

Наконец, она заявила, причем не одна. Бывшая пионервожатая притащила с собой одного из пингвинов, я так и не поняла, которого, потому что все они были для меня до омер-

зения одинаковые, по-моему, даже на одно лицо, все с приклеенной фальшивой улыбочкой и неизменным презрением высшего существа по отношению к низшим. Их приказы считались обязательными для исполнения. Каждый их совет являлся бесценным.

— Методика профессора Хайбердеккера успешно используется во всех успешных корпорациях! Она помогает сотрудникам стать успешными! — надрывалась пионервожатая, видимо, внезапно озаботившись своей собственной — весьма и весьма сомнительной — успешностью в коллективе. — И ведь это возмутительное нарушение конвенциональных норм происходит не в первый раз!

Пока я размышляла над смыслом слова «конвенциональный», пингвин тоже что-то обиженно залопотал по-своему, но мне было лень напрягаться и вслушиваться в его возмущенный клекот, хотя я знала язык, на котором он говорил, причем довольно неплохо. Более того, сразу после своего появления пингвины, заметив и оценив мои лингвистические способности, пытались завербовать и меня в свое стадо, и стоило мне тогда согласиться — занятия по методике Хайбердеккера проводила бы сейчас именно я, причем за очень хорошие деньги. К сожалению, я недостаточно активно скакала на исполнении корпоративного гимна, ссылаясь на травму колена, и даже отказывалась визжать, короче, яростно сопротивлялась всем попыткам перетащить меня из варварства в цивилизацию, так что вскоре их менеджеры бросили меня, сочтя бесперспективной. Штурман, у которого с языками дела обстояли гораздо хуже моего, принялся отвечать, медленно, непонятно и с кучей ошибок. Порой мне казалось, что сейчас он свалится от усталости, глаза его закроются сами собой и он уснет. Я не вмешивалась, пусть выкручивается сам. Вместо этого я немного лениво подумала, что если держать человека за руки и глядеть в глаза говорящему, то невольно проникаешься его чувствами, настоящими чувствами, а не теми, о которых он говорит. И мне захотелось поддержать сейчас Штурмана за руки. Наверное,

я вела бы себя иначе и совсем не об этом думала, если бы, по примеру коллег, не ведала своего будущего, но я ведь знала, что меня не уволят. И поэтому продолжала вспоминать.

Со Штурманом мы познакомились довольно давно, лет десять назад, когда я, студентка последнего курса, проходила практику на его фирме, вместе с парой других молодых девчонок. Девчонкам этим тогда неслыханно повезло: наряду с бесценными навыками подготовки проектов они от души развлеклись, наблюдая за мной. Конечно, они решили, что я влюбилась, влюбилась без памяти и с первого взгляда, хотя на самом деле всё было намного сложнее. Странно и невозможно — ведь я уже собиралась замуж, — но присутствие Штурмана действовало на меня в те времена как хорошая доза наркотика на наркомана со стажем: стоило ему оказаться где-нибудь рядом, как я не была собой, а все, что случилось вокруг, приобретало мистический смысл и разрасталось до гигантских размеров: жесты, взгляды, слова. Мысли мои путались, я принималась нести всякую чушь, я дерзила напропалую: в этом моем опьянении мне почему-то казалось, что хамство выполнит для меня роль щита и станет спасительной маскировкой моего непонятого безумия. Между тем глупая радость переполняла меня изнутри и чуть не разрывала мне сердце; глаза у меня — по отзывам окружающих — сияли нездоровым блеском, лицо заливалось краской, а руки беспрестанно дрожали. Я верила этим отзывам, потому что половина моих однокурсниц под разными благовидными предлогами постарались посетить нашу фирму, чтобы лично насладиться столь занятным зрелищем; даже с параллельных потоков приходили взглянуть. Удивительно, но никаких других симптомов, вроде бабочек в животе и прочей порнографии, не наблюдалось. Я не любила Штурмана, я его даже не уважала. Каждый раз, попадая в один из этих сумасшедших дней своей жизни, я сама удивлялась себе, но поделать ничего не могла. Оставалось только гадать, что за химия бурлит по моей крови и так размягчает мозг. По-видимому, однажды — через много лет — отравы

закончилась и мои странности исчезли так же неожиданно, как начались, хотя я бы не смогла с уверенностью указать тот момент, когда Штурман впервые зашел в комнату, а я — не заметила. Впрочем, хамила я ему точно так же, как раньше, только теперь по инерции.

А кроме того, был в моей, замужней уже, жизни мучительно-жаркий летний день, когда, прямо посреди нервного спора на чисто служебные темы, случилось неожиданное, то, чего быть не должно. Застряв на середине очередной наглой и звонкой тирады, я не сразу ощутила, как что-то изменилось в атмосфере вокруг меня, а может, и не вокруг, может, в молчаливом мире моих снов или там, где невидимая рука тасует мне карты. Я обрела утраченный кусочек души, которого мне, оказывается, так не хватало. Я продолжала выговаривать глупые и злые слова, но меня вдруг охватило удивительное ощущение надежности и покоя. Оно совсем не походило на лихорадочное полупьяное возбуждение молоденькой дурочки. Это было ощущение дома. Окружающий мир показался мне вдруг понятным и добрым, а люди — честными и справедливыми. Повсюду царили умиротворение и надежда. Не знаю, удалось ли мне тогда довести мою речь до конца, не знаю, надолго ли я замолчала. Но привычка видеть себя сверху и со стороны всё же сработала, и я помню красный сигнал тревоги в моем мозгу: что это со мной? Что это? Что? Немедленно прекратить!

Причина, между тем, была проста до омерзения. Штурман в тот день носил рубашку с коротким рукавом, я тоже. И пока мы с ним стояли бок о бок, обсуждая служебные темы, наши голые руки соприкоснулись чуть выше локтя, там, где заканчивался рукав. Всего лишь соприкосновение рук. Конечно, я тут же отодвинулась от него, возвращая себя в реальность, но необычность и какая-то неправильность происходящего зацепила меня достаточно сильно, чтобы помнить об этом случае даже сейчас.

Соприкосновение рук. Я не знала и вряд ли когда-то узнаю, как именно он относился ко мне и что он вообще обо

мне думал. На момент нашего с ним знакомства у него уже имелась семья, и на выходки мои он ни разу не отреагировал. С другой стороны, из всех практиканток предложение устроиться на работу вот в эту только что созданную фирму получила именно я. Зачем я ему понадобилась? Да, у меня был тот практический опыт, которого не было и быть не могло у других, ведь никто не понимал, что мои знания уже никогда не станут ни лучше, ни хуже. Боюсь, что впоследствии я его разочаровала, и в профессиональном плане он ожидал большего. А его ожидания в личном плане мне неизвестны, правда, про Марсика с самого начала он знал.

Однако нашим отношениям помешало вовсе не это. Другое незримое препятствие стояло между нами всегда: мне ведь было известно, что однажды я сделаю с ним. С ним и одновременно с собой, потому что та чудовищная правда обо мне, которую я всё время носила внутри, вырвется наружу. Я всегда знала, что однажды настанет день — самый страшный день в моей жизни — когда я увижу, как уходит свет из его изумленных глаз, а в моей правой руке будет лежать горячий револьвер, и я, наконец, стану убийцей не только для себя, но и для всех остальных. Наверное, он успеет сказать мне: «За что?» — и мне нечего будет ответить.

Между тем пингвин залопотал уже более умиротворенно. Еще несколько круглых фраз — и они с пионервожатой ушли, бросая на меня недовольные взгляды. А я ненадолго осталась.

— И как прикажете с Вами поступить? Ну зачем, зачем ты это сделала, можешь хотя бы ты мне объяснить? — Да уж, Штурман явно запутался в местоимениях, раз вдруг перешел на ты, словно вернувшись в те дни, когда он называл всех нас, зеленых студенток, на ты и, конечно, без отчества. Впрочем, он тут же исправился:

— Неужели Вам так сложно прилично себя вести?

— Я просто пытаюсь эмпирическим путем определить длину поводка, на который нас всех посадили. «Эмпирическим» означает «экспериментальным».

Босс вдруг обиделся и даже немножко вышел из себя, такое с ним иногда случалось, порой — совершенно внезапно, и мне особенно нравилось наблюдать за ним в эти минуты.

— И почему ты вечно разговариваешь со мной так, словно я конченый идиот?

— Вы очень смешно сердитесь, — я улыбнулась в его бледное лицо, и это было уже чересчур, не иначе, злой дух опять овладел мной. Иногда я сама удивлялась тому, что он до сих пор терпит все мои выходки и до сих пор не выгнал меня с работы. Похоже, сейчас он немного опешил:

— Ну ты даешь! Неслыханная наглость, — как ни странно, он вдруг усмехнулся, так же внезапно, как и вспылil.

Я ничего не ответила, он тоже помолчал, а потом добавил, уже намного спокойнее:

— Да знаю я, знаю, что это маразм и полная белиберда, и профессора Хайбердеккера следовало бы выпороть хорошенько, чтобы уже с гарантией больше не изобретал. Но пойми, мы зависим от этих инвесторов! Почему я должен вечно объясняться из-за тебя? Из-за Вас.

— Вы ведь понимаете, чего они от нас требуют, правда? Стань покорным членом их пингвиньего стада, топай, вилай хвостом, валяйся в общем дерьме вместе со всеми — и будешь вместе со всеми допущен к кормушке. Так они расшифровывают слово «конвенциональный»? Я не могу! Мне — стыдно!

— Стыдно Вам? Ну конечно, Вашей светлости стыдно! Иногда мне кажется, что Вам не тридцать лет, а тринадцать. Вам нет необходимости заботиться о тяжело больных, беспомощных людях, которые полностью зависят от Вас! — я удивленно подняла брови, так как впервые слышала, что среди родственников Штурмана имеются инвалиды. Поскольку я не отвечала, он продолжал, вновь распаляясь гневом. — Ведешь себя, словно это кино, где главное — красиво сыграть свою роль и заслужить аплодисменты, между тем у нас с Вами не кино, у нас с Вами — жизнь, где пленку назад не отмотать, в прошлое не вернуться, и второго дубля не будет.

Медленно, будто сквозь вату, до меня доходил весь юмор этой тирады. Штурман неожиданно попал в самую суть. Впрочем, он был умен, я знала. Пожалуй, из всех людей, с которыми мне доводилось общаться, именно он соображал быстрее всех. Только это ничего не меняло.

— Хорошо, я постараюсь вести себя, как полная дура, — не дерзить в такой ситуации было попросту невозможно. — Можно, я все-таки пойду поработаю?

Ответа я дожидаться не стала: зачем? Опять зеленые коридоры, опять одиночество космоса и тишина.

— Вы же мне обещали! Зачем Вы тогда обещали?! Думаете, я для Вас золотая рыбка? Вы мне одну просьбу — я выполнила. Всё? Нет, Вы мне вторую, Вы мне третью! И как только совести хватает?

Когда на меня, стоило мне открыть дверь в свою оклеенную таджикскими лозунгами комнатуху, обрушился этот шквал упреков и оскорблений, до меня тут же дошло одно: работать сегодня точно уже не позволят. Бывшая пионервожатая поджидала меня у стола, даже не решаясь присесть. Самомаркетинг был прочно забыт, вместо этого в меня полетели обрывки фраз, таких привычных, таких знакомых: у сына проблемы в школе, мужа от кризиса сократили, мама болеет, а еще ремонт, собака, кошка, нужны новые сапоги и ходить совершенно не в чем. Видимо, влетело ей из-за меня знатно, вплоть до обещаний уволить. Даже как-то неудобно стало и жаль, я ведь не бью лежачих.

— Извините, вырвалось само собой. Но и Вы хороши! Стоило поднимать такой шум из-за самой обычной шутки! Спросили бы, что ли, чего я придумала полезного, пока забавлялась с мужем, все бы посмеялись, и готово хорошее настроение до конца рабочего дня. Нет, надо было полезть в бутылку! Садитесь, что ли. Я Вам чай сделаю.

Раскладывая на столе чайные принадлежности, я лихо-радочно соображала. Из бессвязных обвинений нашей корпоративной психологини я поняла одно: речь шла о какой-то услуге, которую она оказала мне вчера в обмен на обещание вести себя на тренингах тихо и смиренно, не ерничать. Услуга! Не этот ли счет с моей карандашной припиской? С бухгалтершей они часто запирались вдвоем в кабинете, обсуждая общие дела и готовя для нас новые увеселения. Могла раздобыть и счета. Но зачем, зачем?

Я отчаянно копалась в памяти, но вспомнить вчерашний день совершенно не удавалось. Просто черный провал и всё. Такое порой случалось, правда, нечасто. Обычно я представляла себе бо́льшую часть того, что произошло накануне, и пусть эти сведения были для меня чужими, будто вычитанными из книг, но они по крайней мере были! А сегодня не повезло. Сегодня я ощущала себя как школьница, вынужденная отвечать у доски с невыученным уроком.

— Да не переживайте Вы так! Ну хотите, я сама поговорю с пин... с инвесторами? Извинюсь, пообещаю больше так не поступать. Могу даже сказать, что это Вы меня пристыдили.

— Хоть говорите, хоть нет, ей-богу, мне всё равно. Я за сегодня должна была перевести на русский проект нового корпоративного кодекса, а из-за Вас придется брать работу домой!

Ну, дальше опять по кругу: «мама больная, собака, кошка, сын-оболтус, мужа сократили...» Я устало вздохнула, потому что всё поняла. Пионервожатая не хотела тратить время и силы, мучая несчастный словарь, тем более что ее владение языком было далеко не таким свободным, как она обещала пингвинам, нанимаясь к нам на работу. А я переводила все их методички с листа, просто брала и сразу читала по-русски.

— И много там страниц?

— Чуть больше десяти.

— А если точнее?

— Шестнадцать, но переводить надо не всё. Страницы вообще-то маленькие!

Нет, сделать хоть что-то полезное сегодня решительно не удастся! Я положила перед ней бумагу, ручку и сказала коротко и просто:

— Пишите!

Начинать работу над новым проектом не было смысла: всё, что я успею сделать за сегодня, придется восстанавливать на следующий день, который для всех наступит завтра, а для меня — бог весть когда. Поэтому остаток рабочего дня я решила посвятить проверке поставщиков, той самой таинственной «Иннофурнитуры», которая торговала с нами по таким замечательным ценам, благо адрес их у меня был. Автобус, немного пешком, еще раз автобус — и вот я уже захожу в чистенький офис, где единственная случившаяся на месте секретарша словно бы нехотя показывает мне прайсы и наливает чайку. С посетителями у них, похоже, негусто, а вот чай удался, ароматный и крепкий, с каким-то особенным сахаром. От секретарши пахло недешевой и очень интеллигентной туалетной водой. Да и сам офис был необычайно хорош. Правда, я никак не могла решить: скандинавский стиль, эклектика или всё же хай-тек? Геометрию идеально белых стен оттеняли столь же идеально черные плинтусы и провода. С потолка свисали сияющие металлические шары, заменявшие здесь обычную люстру. Стол из дорогущего каленого стекла на гнутых хромированных ножках странным образом гармонировал с уютным кожаным диваном и ковром на полу. Из другой мебели здесь имелся только черный шкаф — в тон проводам, — открытые полки и варочная панель. И вот это уже было странно.

В конце концов, я сижу в офисе фирмы, торгующей фурнитурой, а не в кабинете дизайнера. Где у них необходимый

в таких случаях ноутбук? Где образцы материалов? Они должны лежать под рукой, на виду у возможных клиентов! Да и секретарша какая-то картинная, больше похожа на фотомоделль, у нее даже платье и прическа подобраны под цвет мебели. Она что, целыми днями протирает пятнышки на этих идеальных стенах, убирает полки и полирует стол? Роскошная хайтековская люстра совсем не дает света, с такими лампами хорошо вести кокетливую беседу, но невозможно читать, уж в этом-то я разбираюсь! Напольный светильник: денежное дерево, усеянное маленькими лампочками вместо листьев, — больше похож на ночник и ситуацию исправить не может. А настольных ламп я не увидела ни одной. Всё это я соображала, попивая чай из изящной маленькой чашки, совсем не подходящей для работяги мужеска пола: он ее просто раздавит. А ведь женщины в нашей профессии — редкость! Закруглив свои наблюдения на чашке и нехватке настольных ламп, я прямо-таки физически ощутила тот особый настрой, который человек с моим опытом просто не мог не узнать: аромат мошенничества. Зря я сюда пришла, и зря я в это ввязалась.

Стоило мне понять, куда я невольно попала, как самый воздух вокруг сделался неуютным, и отвратительный запах свежего кофе смешался с чудовищным ароматом духов. Я испугалась, что меня сейчас стошнит, прямо на этот красивый дизайнерский столик. Хуже того, в глазах потемнело, кислота подступила к горлу, и я начала задыхаться почти так же, как накануне в больнице, только без драматичного кашля. Прикрыв веки, я увидела яркие круги зеленого цвета, они давили мне на глаза, вталкивая их вовнутрь, и в носу у меня по-особенному защипало. И вот тут, как вчера, я вновь услышала голос, мужской голос, звавший меня по имени. Тот же самый. Голос человека, который не должен был здесь находиться, потому что ему нечего делать здесь. Голос моего начальника, Штурмана, или как там его зовут! Дурнота прошла, зеленые круги поменяли свой цвет и поблекли, и я различила лицо мужчины, кстати, очень обеспокоенное лицо.

«Идите в мою машину, я Вас подвезу». Действительно, неплохая идея.

В автомобиле, ожидая, пока Штурман вернется, я окончательно приходила в себя. Неожиданный полуобморок меня особо не взволновал: я догадалась, что это был токсикоз, и с утра я не обманулась в расчетах. Надо будет сказать Марсику, что Мелкий уже на подходе. Волновало меня другое: наша встреча с начальством в таком неполюженном месте. И что мне теперь придется ему объяснять? Рассказывать про записку карандашом, о которой сама не помню? Кстати, а что здесь делает он?

Сидеть было неудобно: сначала я не обратила на это внимание, но что-то жесткое лежало подо мной на пассажирском сиденье. Видимо, Штурман бросил, выходя из машины, а после забыл убрать в бардачок. Чисто женский инстинкт наведения порядка заставил меня сунуть руку за полы пальто, и я нащупала холод металла. Штурман забыл на сиденье оружие, револьвер, — если он настоящий, конечно.

В этот момент очень не вовремя вернулся Штурман, и лицо его во второй раз за сегодняшний день побелело как полотно. Очень медленно и осторожно он вынул тяжелый металл из моих рук и убрал в бардачок. Я глупо спросила:

— Газовый, что ли?

— Вроде того, — сухо ответил он и, усмехнувшись, добавил: — Ваше эффектное падение в обморок наделало там фурур. Как всегда, чрезвычайно кстати.

Так случилось, что в этот момент лица наши застыли напротив друг друга, и никто из нас не стал отводить взгляд. Что за странная штука — человеческий глаз! Казалось бы, ничего особенного, черный зрачок да радужка по кругу, и глупо полагать, будто взгляд может выдать чьи-то мысли или мечты. Но почему же мне вдруг показалось, что мир перестал существовать, что всё происходящее в нем утратило реальность и остались только наши глаза, его и мои, и теперь моя душа, самая глубинная суть моего существа, общается с его душой, напрямую и без ненужных слов? Меня

поразила невысказанная, полубезумная надежда, вдруг вспыхнувшая в самой глубине его глаз. Надежда и радость. Мне было жаль. Мне было очень-очень жаль и его, и эту надежду, сбыться которой не суждено. Я могла бы смотреть в эти глаза часами, сутками, вечно.

Тут до меня дошло, что мы уже довольно давно сидим в машине и, как два идиота, пьем друг на друга. И я отвела свой взгляд. В тот день, когда мы соприкоснулись руками, первой руку тоже убрала именно я. Я, а не он.

Штурман вел автомобиль осторожно, но достаточно быстро, не разговаривая со мной. Я еще раз поразила его усталому и какому-то измученному виду, порой мне даже казалось, что он вот-вот заснет за рулем, и мы разобьемся. А тут еще револьвер. Никакой он, конечно, не газовый, и я понимала это прекрасно. Не потому что разбираюсь в оружии, всё было проще: этот револьвер я держала в руках на следствии столько раз, что сейчас без труда его опознала. Именно из него Штурмана и убьют. Я убью, не надо прятать голову в песок и делать вид, будто это не так. Следователь еще долго пытался понять, как я смогла воспользоваться оружием, никогда не обучаясь стрельбе. Мои отпечатки пальцев были одной из главных улик на суде, и ведь я так и не смогла объяснить, откуда они там взялись. Но этот револьвер уже сейчас покрыт отпечатками моих пальцев! Хотя... До убийства оставалось года четыре, не меньше, и я не могла поверить, что за всё это время никто, кроме меня и Штурмана, его не потрогает.

Остаток рабочего дня прошел без приключений. Марсик не стал заходить за мной, и я получила еще один шанс побыть в одиночестве, хотя бы по дороге домой. К вечеру воздух стал теплее, и сейчас пейзаж напоминал третий круг ада у Данте: сверху спускался медленный, еле видимый дождь, грязная снежная каша пузырилась под ногами и повсюду вокруг. Я подумала, что свежий вкусный воздух — единственное объективное достоинство этого дня. Тот же самый город на сей раз не казался враждебным, дождь и снег укутывали его одеялом, и каждый прохожий спешил куда-то домой, куда-то к родным. Вот бы обернуть глаза зрачками в душу и ждать, пока дождь не превратится в медленно оседающий снег, тот самый, что шел сегодня с утра. Когда мне еще только предстояло пережить то, что случилось сегодня: взгляд.

Но вместо этого я вернулась в нашу с мужем квартиру, и Марсик открыл мне дверь.

— Привет, родной! Как наши дела? Я пришла! — я искренне постаралась говорить радостным тоном.

— Я всегда знаю, что ты пришла, даже если не вижу тебя, — он задержал мои руки в своих. До чего же меня раздражала эта его манера разговаривать так, будто нас и впрямь связывают серьезные чувства!

Как примерный молодой супруг, Марсик самостоятельно поставил воду под пельмени (конечно, не посолил, такая задача была уже выше его сил) и теперь лежал на диване, выбирая, чего посмотреть. В такие минуты он напоминал мне полководца перед битвой, планирующего расположение войск: сперва американский вестерн по видео, в восемь вечера программа новостей, потом фантастика. А это вечное стремление перематывать пленку, будто выбирая местечко поинтереснее, эта привычка пересматривать фильм вразнобой, сперва середину, потом финал, потом что-нибудь из начальных сцен, потом опять середину! И пульт в его руках

летал то ли как дирижерская палочка, то ли как жезл волшебника, вершащего судьбы людей. Впрочем, он и книжки читал точно так же, не читал, а жадно ворошил, перепрыгивая от середины к концу, а потом к началу. Я смотрела на своего мужа, ощущая неловкость и чувство вины перед ним. В профиль в нем появлялось что-то чуткое, собачье. Почему я вышла за него замуж? Ведь он мог бы встретить другую девушку, которая действительно полюбит его. Ладно, что толку вздыхать и причитать, я знала, что этот человек станет моим мужем, вот и весь секрет.

Наверное, мне следовало бы сегодня же обрадовать его известием о моей беременности, но настроения не было совсем. Скажу в следующий раз. Фильм тоже смотреть не хотелось, поэтому, переждав обиженные вздохи Марсика на тему «Ты меня больше не любишь», я ушла поработать к себе. Надо было подвести итоги прошедшего дня, деловые итоги, без взглядов и многозначительных слов. Кто-то открыл странную фирму, сбывающую товар по заведомо завышенным ценам, и кто-то из моих коллег покупает этот товар. Понятно, с какой целью: увести деньги на подконтрольные им счета. Я не могу сказать, в доле наша новая бухгалтерша или нет, или кто-то пользуется ее неопытностью и чрезмерной активностью в корпоративных делах. Пингвины, скорее всего, здесь ни при чем, при всех своих грехах склонностью к мошенничеству они никогда не блистали. Что означает неожиданное появление Штурмана? Одно из двух: либо он, как и я, собирался проверить подозрительную фирмочку, либо — самое неприятное из всего, что может случиться, — как раз он-то и связан с ней общими темными делишками. Скорее всего, второе. Более того, Штурман чего-то боится, боится настолько, что приобрел револьвер и носит теперь с собой. Из этого револьвера его как раз и убьют. Я убью. Неужели из-за обычных мошеннических схем? Да, под конец, уже после ухода зарубежных инвесторов, дела нашей фирмы пошли не так хорошо, как раньше, да что там, дела пошли отвратительно, и директора поговаривали о банкротстве, но вряд ли

Штурман тому виной. С другой стороны, на следствии мне показали приказ о моем увольнении, заполненный, но неподписанный. Знала ли я о нем до того, как раздался выстрел? Может быть, в тот день Штурман мне угрожал?

Ладно, вопрос не в этом, вопрос в другом: что делать мне? Что мне делать сегодня, сейчас? Начинать самостоятельное расследование было бы донельзя глупо, потому что, прыгая во времени, я вряд ли смогу полноценно его провести. Тем более меня ждет беременность, которая будет протекать не очень легко, а потом декрет, роды и снова декрет. Покопавшись в памяти — в общей памяти обо всей моей жизни в целом, — я не смогла найти явных указаний на то, чтобы мне удалось вскрыть какие-то махинации Штурмана или других коллег. Так ничего и не решив, я просто бросила в стол ксерокопию утреннего счета и бумажку с адресом фирмы. Пусть лежат, возможно, когда-нибудь я найду их и вспомню. Вот и еще вопрос: как этот счет оказался в моих руках, да еще и с припиской, сделанной карандашом? Но для ответа надо попасть во вчера, а это не так-то просто.

Ложась спать — Марсик, утомленный своей фантастикой, уже спал и вздрагивал во сне от каждого моего движения — я пожелала себе на следующий день одиночества. Так, чтобы рядом со мной не было никого: ни в постели, ни в комнате, ни даже в квартире. Мне хотелось немного подумать над происходящим. И хорошо бы еще проснуться в том нежном возрасте, когда мои ровесницы любили тешить себя иллюзиями, будто всё у них впереди, будто в их жизни обязательно случится истинная любовь, необыкновенная и жутко красивая. Как-то само собой получалось, что и я разделяла эти иллюзии, видимо, из стадного чувства.

Я свернула клубочком и стала ждать знакомый укол пустоты. Вот она, привычная дурнота и ощущение потери себя. Всё вокруг меня, в том числе и я сама, показалось невыносимо чужим, и надо было терпеть, пока не случилось то, что случалось всегда: плечи мои расслабились, глаза закатились вверх, и я заснула.

День третий

КАК БЫ ДЕТСТВО

На сей раз мне приснилась композиция из двух картин, по-научному диптих. На одной из них юноша, сжав руками лицо возлюбленной, всматривался в него с заботой и нежностью. На второй он всё так же смотрел, хотя на этом лице уже лопнула кожа. «Как страшен бывает иногда лик любви!» — произнес чей-то голос, и я проснулась.

Мое желание исполнилось: я проснулась в одиночестве, в полном одиночестве, так как родители, привыкшие к моей самостоятельности, не стали меня будить, уходя на работу. Бабушек в нашей семье, к счастью, сегодня не наблюдалось. А вот с возрастом моя фортуна слегка подкачала, потому что лет мне было никак не больше двенадцати, что для первой любви, прямо скажем, несколько рано. Значит, еще существует Советский Союз, в школу я хожу в красном галстуке, учителя и дикторы из телевизора докладывают о новых завоеваниях советской власти, а по праздникам мы почитаем память борцов революции, хотя в целом в этот социалистический антураж уже давно никто не верит. Пошарив под подушкой, я обнаружила записку, которую сама себе оставила накануне: «Сегодня с десяти собрание членов «Союза борьбы», как обычно, в доме №12». Что ж, теперь я точно знала, что мне десять лет, что на дворе месяц май, а я временно возглавляю мной же созданное тайное общество детей, цель которого — борьба за равноправие со взрослыми.

На столике рядом с кроватью лежал сборник греческих мифов. Видимо, я читала его перед сном. Я вообще увлекалась мифами в тот период. Перелистывая картинки, я не-

вольно задерживала взгляд на статуях обнаженных юношей, сатиров и фавнов. Вот ведь странность! Я прекрасно помню себя замужем, у меня родился ребенок, но сейчас я веду себя так же, как любая любопытная девочка благопристойных советских времен, и античные истуканы заменяют недоступную мне порнографию. И теперь, пока грелся завтрак, я перелистывала эту книжку, одновременно раздумывая над запиской из-под подушки. «Союз борьбы» всё еще не распался? Вообще-то уже пора.

Занятная игра в борьбу за равноправие началась несколько месяцев назад, и я даже помнила, как именно всё случилось, помнила довольно неплохо, с множеством мелких деталей. Раздраженная в очередной раз замечательной манерой родителей без конца вмешиваться в мою жизнь и не считаться с моим мнением, я вдруг закатила торжественную речь о том, как взрослые угнетают нас, маленьких и бесправных, и поклялась, что мы, униженное сословие, когда-нибудь отомстим и восстанем. Идея пришлась мне по нраву, и в результате возникло тайное общество детей с неуклюжим названием «Союз борьбы за равноправие со взрослыми», созданное мной не только по обязанности — ведь я знала, что должна это сделать, — но и с чувством искреннего удовольствия от происходящего. Несколько горячих проповедей в среде десятилетних — и кое-кого из моих сверстников действительно удалось завербовать, так сказать, в мои тайные агенты. Я не рискнула развернуть агитацию в школе, уж очень это всё не вязалось с образом аккуратной и тихой отличницы, прилипшим ко мне на время учебы, поэтому жертвами моей пропаганды стали по большей части дети наших соседей, ходившие в другую школу, либо отпрыски коллег моей матери и отца. Мы придумали себе клички, пароли, сочинили гимн и выдали друг другу самодельные паспорта. Еще мы писали от руки листовки и оставляли их по вечерам в темноте где-нибудь на скамейках в разных общественных местах. Опасность будоражила, страх, что нас могут поймать, приятно возбуждал, но даже представители

компетентных органов, к моему великому удивлению, нашей организацией так и не заинтересовались. Видимо, эти бумажки, исписанные крупным детским почерком с кучей орфографических ошибок, не угрожали безопасности советского государства. Через пару месяцев страх притупился, и листовки наскучили. Несколько публичных детских выходов успеха не имели. А больше заняться было вроде бы нечем. В конце концов, угнетение детей существовало скорее в моем воображении, чем в действительности, да и то в основном потому, что меня ребенком в полном смысле слова назвать всё же нельзя. Моих ровесников диктат матери и отца, по сути, вполне устраивал, и тайный террор они готовы были объявить чьим угодно родителям, кроме своих. Я знала, что время существования нашего общества подходит к концу, и недавно предприняла последнюю отчаянную попытку удержать наше рассыпающееся содружество. Попытка оказалась не столь уж слабой, раз наш «Союз» до сих пор еще не распался, и поздней весной мы успели провести еще несколько придуманных мной акций неповиновения, добавив седых волос старшим членам семьи.

Регулярно попадая в общество взрослых людей, я прекрасно знала, что участие в совместном унижении или коллективная подлость способны сплотить человеческое стадо куда эффективнее, чем любая высокая цель. К тому же как раз тогда я читала про заговор Катилины (для детей старшего возраста), который, по слухам, заставлял заговорщиков участвовать в оргиях, хуже того, убивать и съедать рабов. Были и рассказы о других тайных обществах, более поздних эпох. Вряд ли кто-то сейчас смог бы с уверенностью сказать, сколько правды содержалось во всех этих страшных историях, но я твердо усвоила, что нет лучшего способа привязать друг к другу сообщников, чем сделать их соучастниками какой-нибудь гнусной выходки. События моего истинного вчерашнего – блестящее тому подтверждение. Конечно, будь членам «Союза борьбы» хотя бы лет по тринадцать, я бы знала, что именно способно их сплотить. Но мне удалось придумать —

если слово «придумать» вообще применимо ко мне — трюк и для десятилетних. Видимо, подсказали изображения фавнов в сборнике греческих мифов. Я искренне надеялась, что детям удалось справиться с этим опытом, хотя, похоже, они его не забыли, даже после нашего перехода во взрослость.

В тот день — наверное, с месяц назад — я собрала членов «Союза» у себя дома и объявила, что сегодня мы принесем страшную клятву на верность нашему общему делу. Сборник греческих мифов лежал передо мной на столе.

— Мы будем клясться по обычаям Древней Греции и Древнего Рима. Облачимся же в их одежды, и я прочитаю те слова, которыми клялись спартанцы царя Леонида!

К счастью, голливудского фильма про спартанцев в те времена еще не существовало, и все сведения по древней истории мы черпали из той же самой детской книжки. Я выложила на стол запас собранных по всему дому с утра банных полотенец:

— Надеюсь, все знают, как надеваются тоги?

Имелся один нюанс: для того чтобы надеть полотенца на манеру древних тог, сперва необходимо было раздеться, причем догола, и когда девочки и мальчики уже собирались разойтись по разным комнатам, я сказала со всей возможной властью в голосе:

— Переоденемся здесь! В знак того, что нам нечего скрывать друг от друга! — и первая стала снимать с себя платье. А дальше стадный инстинкт плюс детское любопытство взяли свое. Девочки хихикали, мальчики заливались краской, неумело надетые полотенца слетали на пол, а я запретила двигаться, пока читаю слова клятвы. В итоге конечное «Клянемся!» произносил десяток босых, обнаженных, замерзших и жутко смущенных детей, которые стеснялись посмотреть друг другу в глаза. Мои расчеты оправдались, хотя и у меня на душе было слегка неприятно.

Сейчас, сидя на кухне за завтраком, я вспоминала всё это и думала, что мне придется чего-то сказать на новом собрании нашего «Союза» и вдохновить участников на очередную

коллективную пакость. В записке о моих планах не содержалось ни слова, своих идей тоже не наблюдалось, да и вообще играть в войну мне сегодня совсем не хотелось. Решив разбираться по вдохновению, я собралась и ушла.

А всё-таки у детства есть свои преимущества! Сбегая вниз по лестнице, я ощутила, как упорные пузырьки радости стремятся взлететь вверх из моей груди. Мир показался полным тайн и чудес, когда за каждым углом меня ждут удивительные приключения, от которых захватывает дух и кружится голова. Вдруг накатило глупое желание запрыгать по ступенькам, может быть, даже на одной ноге, чего и в голову не придет взрослому человеку.

Конечно, секрет этой радости прост: пока еще моя юная жизнь обладает заведомой ценностью и не нуждается в оправдании, ведь я — будущее, ведь я расту. Я пока что всего лишь готовлю себя для чего-то очень нужного и важного, и поэтому каждый мой жест и шаг преисполнен глубокого смысла — священное заблуждение детства.

А потом я шла по улице и воображала, что я — это не я, а лишь образ на огромном экране, персонаж фильма, сюжет которого — моя жизнь. И вот я иду, иду себе, а титры с именами главных актеров, режиссеров, операторов набегают поверх меня. Затем — совсем как в кино, когда резко меняется музыка — мне вдруг показалось, что за мной кто-то следит, что за каждым домом стоит по человеку и сейчас из-за каждого угла медленно выглянут их совершенно одинаковые лица.

Дом №12, о котором упоминалось в записке, предназначался под снос, и все жильцы его давно уже съехали. Мы узнали о доме случайно, еще в начале апреля, и с тех пор частенько проводили здесь свои подпольные встречи, с паролками и часовыми — а как же! Именно здесь в торжественной обстановке мы вручали друг другу самодельные паспорта, для чего пришлось долго искать чистую и сухую квартиру. Сейчас это было неактуально, ведь на дворе стоял май и на улице стало тепло.

Обычно к моему приходу в коридорах старого дома уже кучковались разношерстные девочки и мальчики, из тех, кто учится во вторую смену. На последних наших собраниях они явно скучали, ожидая меня. И всё-таки в их глазах мелькала всё та же детская неутомимость, их переполняли всё те же пузырьки радости и надежды, название которым — упорное ожидание счастья. Они еще верили, что их жизни могут сложиться как-то необыкновенно, не хуже, чем у героев любимых фильмов и книг. Конечно, ничего необычного с ними никогда не случится. По крайней мере, на момент моей смерти никто из нас героем почему-то не стал, не прославился, не разбогател. Вся разница в том, что я об этом знала, а они — нет.

Однако сегодня старый дом оказался пуст. Я прошлась по всем коридорам, заглянула во все квартиры, на чердак и в подвал. Никто не явился на назначенную мной тайную встречу. Начиналось лето, обещавшее детям куда больше всяческого веселья, чем простое разбрасывание листовок. А еще — как я могла про это забыть? — с утра по телевизору повторяли любимый приключенческий фильм, специально для тех, кого в десять вечера уже отправляют в постель. Эра видеосалонов еще не настала, и вся страна, как один человек, в одно и то же время оседала у телевизора, чтобы на следующий день обсудить новую серию. В этом было нечто объединяющее. Я помню, как плакали девочки, когда погибал

любимый герой. И сколько радости было у них, когда год спустя этот фильм показали снова!

Конечно, никакое тайное общество не сможет конкурировать с новой серией приключений. И сейчас, вместо того чтобы спешить на конспиративную встречу, девочки представляют себя в объятиях главного принца, а мальчики мысленно повторяют его подвиги. И им всем совершенно не до меня.

Забравшись с ногами на широкий подоконник, я разглядывала мутное и треснувшее оконное стекло и жевала соломинку, воображая, будто курю. Вообще-то этой бунтарской весной я пыталась курить и настоящие сигареты, но табачный дым не настолько меня забавлял, чтобы тратить на него небольшие карманные деньги. Спички валялись здесь же, на подоконнике, и я достала из коробка несколько штук. Они казались одинаковыми только на первый взгляд. Всматриваясь в них повнимательнее, я увидела юных солдат, со своим характером, именем и уникальной судьбой. В детстве я умела сочинять себе героев из всего, даже из собственных пальцев. И вот теперь, глядя на спички, я воображала себе, будто это — мои друзья, настоящие, те, что не предадут. Ведомые силой моей воли, они — армия восставших детей — преодолели реки и горы, спускались в шахты и переплывали моря, утверждая новое царство справедливости. И мы восторжествовали!

И что же потом? Что дальше? Конец игры?

Я отбросила спички. Но затем аккуратно их собрала и сложила назад, в коробок, ведь это мои друзья! Мои единственные друзья... Наверное, сейчас я должна дико переживать свое поражение и конец нашей великой борьбы. И я переживала, но в чувствах моих не было искренности, обида на бывших соратников не захватывала меня, как бывает с подлинным горем.

И без того было очень странно, что мне, именно мне, удавалось так долго командовать этими детьми, устроить этот «Союз», эти заговоры, эти клятвы. Никогда больше в своей

жизни, ни до, ни после, у меня не получалось сплотить вокруг себя других людей и заставить их поступать так, как хочется мне. Впрочем, и от меня другие люди ни разу ничего не добились. Животный магнетизм не действовал на мою размагниченную душу. Наверное, дело в том, что человеческий лидер должен безоговорочно, бессознательно верить в свою правоту и в святость поставленной цели, только тогда он способен увлечь других. Ведь сделать так, чтобы люди действовали в твоих интересах вместо своих собственных, — задача не из простых. Все известные мне вожди — истинные вожди, разумеется, — не допускали, что могут оказаться неправы, а это тоже подразумевает некую узость ума. Похоже, в те дни, когда я создавала «Союз», весь ребенок, живший во мне, был абсолютно уверен в своей правоте, в справедливости нашего великого и священного дела. Даже если взрослая часть меня понимала, что это игра. И всё же придуманное мной человеческое стадо оказалось неправильным и просуществовало недолго.

Неожиданно для себя я заплакала. Я, которая не плакала и по более серьезным причинам! Вот они, издержки детства! Сначала я сопротивлялась этим позывам на плач, но потом — какого черта, меня же никто не видит! — дала волю всхлипам, слезам и соплям. Отплакавшись и словно осененная новой идеей, я нашла кусок штукатурки и написала на стене, будто мелом: «Союз распущен, всем спасибо!» — на случай, если кто-то из детей всё же вернется сюда. И для себя самой тоже, конечно. Хорошо, что на дворе не 91-й год, а середина восьмидесятых, и мои слова нельзя превратно истолковать. Ну да ладно, теперь домой, как следует вымыть лицо, поест, повязать галстук — и в школу.

Еще одно преимущество детства в том, что это время ученичества и детям вѣдома радость познания. Дети имеют право тратить свою жизнь на знакомство с окружающим миром, и никто не упрекнет нас в том, что время потрачено зря. К тому же сам процесс обучения зачастую бывал интересен, даже для меня, которая и так знает об окружающем мире практически всё. Впрочем, сидя за партой, я замечала, что и мои ровесники внимают учителю с блеском в глазах. Им хотелось расти, умнеть, становиться лучше. Им пока невдомек, что всё это ненадолго, лишь до создания брачных пар, а потом все силы уйдут на то, чтобы родить и выпестовать следующее поколение людей, и дальше уже оно будет расти, умнеть, становиться лучше. Преглупый закон природы.

Я заходила в класс. К счастью, в этом году мальчишки еще не начали утомительно выпендриваться перед девочками, а девочки еще не начали делать вид, что им это неинтересно, и я рассчитывала на законный отдых от взрослых проблем. Правда, сегодня что-то пошло не так. Уже с порога я услышала громкие всхлипы и стоны, похожие на мой одинокий утренний плач, но такие горькие, такие трогательные. Девчонки глотали слезы, кто явно, а кто украдкой. Мальчишки, насупившись, мрачно смотрели в окно. Ревела Маруся, отличница и активистка. Рыдала староста Даша, краса и гордость нашего класса:

— Он у-у-у-мер! У-у-умер! В-в-вчера-а-а!

Сперва я подумала, что скончался кто-то в ее семье или, страшнее всего, сдох любимый щеночек. Оказалось, всё гораздо хуже: именно в сегодняшней утренней серии погиб любимый актер. Вот оно, детское горе! Какой там «Союз борьбы»!

Похоже, мне все-таки надоело их слушать, я знала, что вот-вот начнется урок, и поэтому пересела к Марусе за парту, решив, что именно полненькая и романтическая Маруся переживает здесь больше всех. Успокоив ее, я сразу утишу

и прочих. Заботливо, почти что по-матерински, я обняла ее плечи и слегка прижала к себе, что было не так уж легко, учитывая ее и мои габариты.

— Пойми, ведь это кино! И герой твой — не настоящий, его никогда не существовало, это актер, а актер жив и здоров, никуда не делся, ты можешь встретиться с ним и убедиться, что он — живой.

— Ну и что-о-о! А для мен-ня н-насто-я-я-щий... И он у-у-у-мер. Мне не нужен актер!

Тогда я решила зайти с другой стороны.

— Да, он умер, но знаешь, чем кино не похоже на жизнь? Кино могут показать еще раз! И ты снова увидишь, что он здесь, с тобой, такой молодой и влюбленный! Просто подожди чуть-чуть, и этот сериал непременно покажут снова, и всё повторится. А еще, знаешь ли, есть такая штука, как видеомэгаффон, это проигрыватель, но только для фильмов, а не для пластинок. Однажды купишь себе, и сможешь смотреть любое кино сколько хочешь и неважно когда, хоть с конца, хоть с середины, хоть в обратном порядке. Увидишь, как твой герой воскресает из мертвых и возвращается к нам, — я не стала добавлять, что обратная прокрутка возможна только без звука. Мне таких подробностей знать пока не полагалось.

Кажется, я ее утешила. Или слезы закончились. Кажется, меня это немного разочаровало. Я ведь понимала, чем в конце концов всё обернется. Будет у нее и магнитофон, и пленка с любимым фильмом. И станет она смотреть его при каждой удобной возможности, сперва — только романтические сцены, потом, когда выучит наизусть каждую позу и жест, — все сцены подряд, и в конце концов герои сделаются в ее глазах глупцами и пошляками, диалоги покажутся искусственными, сюжет — надуманным, и она навсегда забудет про этот фильм.

Наверное, я ожидала, что у нее хватит мудрости сообразить: слишком доступная радость не будет по-прежнему притягательной. Что у нее хватит мужества отказаться от

доступного удовольствия в пользу высоких страданий. Я ждала мужества от маленькой девочки...

Уроки тянулись один за другим, как всегда. Месяц май в наших школах означал подведение итогов, это время отчетов, концертов и контрольных работ. Вот и сейчас, сидя на очередной контрольной, я задумчиво покусывала ручку, но вовсе не оттого, что задачи, написанные на доске, могли вызвать у меня затруднение. Напротив, мне ничего не стоило сделать их минут за пять–десять. Я вообще считалась крайне смышленной девочкой с блестящими перспективами. Разве мог бы кто-то понять, что в общем и целом сумму моих знаний нельзя ни уменьшить, ни увеличить. В детстве я опережала сидящих рядом со мной, но они росли и узнавали новое, а я нет. Я была блестящей ученицей в школе и просто очень хорошей студенткой потом. Мой диплом уже не совсем оправдал надежды учителей, хотя на работу после студенческой практики меня приняли быстро и сразу: сказались наличие тех практических навыков, которые приходят только с годами. Я не стала объяснять Штурману и другим, что у меня эти навыки были и будут всегда, а у моих ровесников просто не было шанса ими обзавестись. Всё равно никто бы мне не поверил. В дальнейшем я работала довольно посредственно, к удивлению и разочарованию всех, от родственников до начальства.

Конечно, нельзя сказать, чтобы я очень уж хорошо училась, случалось всякое. В конце концов, у меня были свои сложности с зубрежкой домашних заданий или заучиванием стихов наизусть, я ведь не помнила многих подробностей предыдущего дня — вчерашнего для всех, но только не для меня. Пока что, в начальной школе, я справлялась. Центральной частью учебы было аккуратное выполнение письменных домашних работ, а с ними дела обстояли попроще.

Я всегда выполняла их по вечерам, не обращая внимания на крики родителей: «Ложись спать! Доделаешь завтра!» Сегодняшние уроки в этом смысле ничем не отличались от всех остальных, и сегодняшние оценки тоже. Но месяц май, то есть конец учебного года, в советской школе был временем не только годовых контрольных работ, но и пионерско-комсомольских собраний, на которых мы отчитывались об общественной деятельности, выполнявшейся за год. Сегодня настала очередь моего звена. Или звездочки, я всегда путалась в терминологии. И сейчас, покусывая ручку, я решала, чего мне сказать.

Последним уроком была репетиция школьного хора. До уровня солистов мои вокальные данные не дотягивали, и я стояла в задних рядах, со стороны альтов. Надо отдать нашим руководителям должное: песни были подобраны светлые и мелодичные, как раз под звонкие детские голоса. Мы пели о прекрасном далёко и об ожидании счастья, о чудесной стране детства и о любви к Родине. Мои соседи не просто пели, они раскачивались в такт мелодии, кто-то махал рукой, другие кивали головами, и я подумала, что этими людьми очень легко управлять. Не пройдет и трех лет, как они без потерь переживут полный разворот идеалов и начнут защищать всё то, что сейчас проклинают, — столь же искренне, как и сейчас. И песни у них будут совсем другие.

Дети продолжали петь, а я продолжала думать. Наверное, всё дело в том, что их мозг обладает одной замечательной способностью, которой я лишена: умением достраивать реальность в соответствии с молчаливым приказом сверху. Сейчас им на самом деле хочется принести себя в жертву страждущим голодранцам, хотя лет всего через пять они поймут другой незримый сигнал и самостоятельно убе-

дят себя в том, что миром правят авантюризм, жажда денег и власти, а побеждать по праву обязан сильнейший. Когда среди обывателей средней руки стало модным всюду разъезжать на авто, Марсик нашел сто тринадцать очень веских причин, по которым и нам без иномарки — просто зарез, а я, как моральный урод, продолжала ходить пешком. Видать, мой разум ленив и невосприимчив. С другой стороны, я все-таки вижу небо над головой, а под ногами — землю, хотя по правде должно быть точно наоборот. На этот обман у мозга силы нашлись.

Мне особенно врезалась в память одна из песен. Она немало превосходила уровень нашего хора, и нам пришлось повторить ее несколько раз. Вероятно, поэтому я обратила внимание на слова. «Всё сбывается на свете, стоит только захотеть!» — убежденно пели дети вокруг меня, и я понимала, что желания у них, должно быть, очень просты. Если бы всё сбывалось! Стоит мне захотеть — и я смогу сама назначать чередование дней своей жизни. Стоит мне захотеть — и Мелкий не заболеет и не умрет. И тонкой струйки крови, стекающей по губам Штурмана, тоже не будет, и мои руки останутся незапятнанными.

А может быть, детям полезно думать, что это правда? А я, вместо того чтобы петь и верить вместе со всеми, опять ощущаю себя взрослой среди детей, как вчера — тинейджером в мире взрослых. Штурман был прав.

Пионерское собрание проводила молоденькая вожатая. Да-да, та самая, с которой я столкнулась вчера — в моем вчерашнем. Я не знаю точно, как называлась ее должность в бухгалтерских книгах, однако уроков она не вела никаких, только организовывала всякие коммунистическо-патриотические мероприятия. Наверное, это тоже считалось очень важной работой.

Весь класс, скучающий после уроков, уставился на нее. Сначала нам предстояло прослушать обязательную вступительную речь о сложности международной обстановки и о победах социализма. Слушали все, но я подозреваю, что каждый из нас думал о чем-то своем. Лично я — о том, что этот своеобразный и странный мир, который мы называем «наша советская Родина», доживает последние годы. Я не могла для себя решить, радовало это меня или, наоборот, огорчало.

«Всё сбывается на свете, стоит только захотеть!» Я представила себе нашу нынешнюю мечту, этот сияющий желанный мир всеобщего равенства и братства. Дети с первых месяцев жизни только и делали, что лобызали своих матерей, не забывая живым криктом предупредить их о необходимости смены пеленок. Школьники все до одного соревновались, чья отличная учеба станет отличнее всех, а в перерывах между решением задач по математике распевали жизнерадостные песни, и так весь день напролет. Достигнув брачных лет, люди сами собой разбивались на влюбленные пары и жили счастливо до конца дней своих, не зная ни ревности, ни забот. Из дома они с восторгом бежали работать и работали как одержимые, по-прежнему распевая светлые песни, а после работы, повизгивая от радости, неслись домой. И даже смерть — а куда от нее деваться? — даже смерть их протекала легко и радостно, под аплодисменты безутешной родни...

Когда пионервожатая отговорила свое, мы начали выходить к доске и в порядке живой очереди докладывать о проведенных за год мероприятиях. Надо сказать, что в отношении общественной работы все дети в нашей школе — да и не только в нашей — делились на так называемый актив и пассив. Пионеры из актива всё время что-то организовывали, всегда были на виду у учителей, так сказать, проявляли инициативу. Я допускаю, что кому-то из них действительно были интересны конкурсы патриотической песни и вечера памяти героев гражданской войны, встреча рассвета на колхозном поле и месячник дружбы с детьми голодающей Аф-

рики. Кому-то просто нравилась человеческая толчея и иллюзия причастности к важным делам. Ну, а кто-то рассматривал всё вышеуказанное как свой шанс выдвинуться вперед и как тренировку, полезную для карьеры. По крайней мере, активу было о чем рассказать на собрании, хотя мне их выступления почему-то всегда напоминали демонстрацию живого товара на рынке рабов. Взрослые сидели на задней парте, присматривались к нам и решали, кто из детей уже сегодня способен заставить ровесников выполнять чужие приказы. И действительно, я знала, что позже, лет пять–десять спустя, бóльшая часть актива сумеет выгодно себя продать новым хозяевам жизни. Взять хотя бы ту же пионервожатую на службе пингвинов. К сожалению, в нашем звене собрался сплошной пассив.

Пока мои одноклассники по одному выходили к доске, мялись и уныло плели словеса о своем якобы участии в бурной общественной жизни, я еще и еще раз представляла себе вчерашний день — мой вчерашний день, — а также мой день сегодняшний с его воспоминаниями о «Союзе». На моих глазах вершился еще один коллективный позор, призванный сплотить коллектив. Человеческое стадо. И опять все участвуют в этом позоре, хотя, очевидно, участвовать никому не хотелось. Что-то сразу после смерти мне необыкновенно везет. Уже в который раз за последние два дня я убеждаюсь в том, что любая человеческая толпа живет по одним и тем же законам и правилам. Вся разница в том, кто твой хозяин, остальное неважно, мозг сам достроит реальность, внушит и заботы, и мечты. В лучшем случае у людей есть право выбрать хозяина стада, и мне подумалось, между прочим, что если бы это зависело от меня, то я бы предпочла борьбу за равенство и всеобщее братство. Ревностное отстаивание интересов частной корпорации, разыгранное нами вчера, смотрелось намного гаже. Или актеры были постарше, чем сейчас, и не подкупали своей наивностью.

Когда очередь дошла до меня, я автоматически встала и только тогда вспомнила, где нахожусь. Говорить, по боль-

шому счету, было не о чем, потому что я не знала о своем участии в жизни школы, даже если таковое — участие — когда-то случилось со мной. Не стану же я описывать «Союз борьбы», наши листовки и конспиративные встречи. Тогда лучше сразу сознаться в том, что заставила десять моих ровесников — женска и мужеска пола — раздеться догола! Терять мне, в сущности, было нечего, и я решила сказать всё честно, как есть:

— Я думаю, что уже поздно, всем нам пора домой, так что я коротко и по делу. К сожалению, общественной работы я никакой не вела, поэтому предлагаю поставить мне двойку, или какая там за нее предусмотрена самая плохая оценка, — конечно, мне опять было легче, чем остальным. Я ведь знала, что из школы меня не выгонят, а к тому моменту, когда для дальнейшей карьеры нужно будет вступать в комсомол, комсомол уже распадется.

В классе сделалось очень тихо, даже те, кто методично играл в виселицу на задней парте, поняли, что происходит нечто особенное. Пионервожатая уставилась на меня с каким-то тупым удивлением и словно бы постарела на несколько лет, сделавшись пародией на будущую себя — психолога из частной корпорации, специалистку по методике профессора Хайбердеккера. Выражение лица у нее в точности копировало вчерашнее, и даже нотки в голосе сделались чем-то похожи, правда, вчера она обращалась ко мне на Вы. Какое счастье, что она меня все-таки не узнала!

— С таким отношением к коллективу ты никогда ничего в жизни не добьешься! Ну вот скажи мне, был ли в твоей жизни хоть один настоящий поступок? Я думаю, не было и не будет!

Вероятно, какое-то психологическое чутье у нее всё же имелось, потому что она угадала. Настоящих поступков в моей жизни, конечно, не было. И не будет, если учесть, что каждое мое действие мне и так хорошо известно, и последствия тоже. Тем не менее мне стало обидно, и я решила:

— Ну почему же не будет? Однажды я убью человека.

Тишина наступила абсолютная. Я еще секунду подумала и добавила слова, в которые сама не слишком верила:

— Это будет плохой человек.

Наконец-то одноклассники посмотрели на меня с уважением. Отличная учеба и примерное поведение их не впечатляли. Убийство — вот что действительно круто!

Вечер прошел обычно и ничем не примечательно: ужин, уроки. Похоже, этот день меня несколько утомил, потому что, ложась спать, я не стала писать себе никаких записок и даже не стала загадывать на будущее ничего определенного: где проснусь — там проснусь. Вместо этого я пожелала себе, чтобы в моем завтрашнем дне мне довелось испытать ощущение счастья, настолько сильное, как еще никогда в жизни.

Снов не было.

День четвертый

ИЛЛЮЗИЯ СУДА

Я сидела в маленьком неуютном зале нашего районного суда, и ничто не предвещало, что моему вчерашнему пожеланию суждено воплотиться в жизнь. Впереди меня ждал очередной этап спектакля под названием «суд», один из многих этапов, потому что тянулся этот спектакль далеко не один день. Правда, настроение у меня случилось что ни на есть философское, одно из самых умозрительных за все прожитые мною дни. Теперь меня и других людей разделяло прозрачное стекло, отчего мне сделалось на удивление спокойно; я даже почувствовала некоторую справедливость происходящего, и если бы мне предложили одним словом описать свои ощущения, этим единственным словом было бы «наконец-то». Я ведь и на самом деле существую как за стеклом, отделенная от всех моих современников незримой чертой, просто теперь эта черта сделалась зримой. Но в чем же здесь счастье?

Постепенно собирались зрители. Я разглядела пару своих коллег, из тех, кто не должен давать показаний. А еще соседи, ближняя и дальняя родня, просто любопытные бездельники. От нечего делать я принялась ходить по отведенной мне клетке, будто выставленный на всеобщее обозрение зверь. Тоже символично. Люди, те, которые сегодня будут смотреть, как проходит суд надо мной, да и все остальные люди на белом свете, всю жизнь проводят на марше, чеканя шаг из сегодня в завтра, из завтра в послезавтра, и это придает их существованию иллюзию смысла. Конечно, они маршируют по направлению к смерти, и мы все это прекрасно

знаем, но само неуклонное движение вперед захватывает, а идти в общем строю обязательно проще, даже когда впереди по курсу находится пропасть. Я же всю жизнь слоняюсь из угла в угол, топча ногами свой маленький надел времени, нарезая круги между рождением и смертью. На какой-то момент мне захотелось быть как все и тоже маршрутировать.

Соседки по камере, собиравшие меня сегодня в город, будто на свидание, были правы: перед заседанием суда я действительно увиделась с мужем, и мы даже успели немного поговорить. Впервые с момента нашего знакомства Марсик был плохо выбрит. Его лицо осунулось и утратило детскую пухлость. Мне стало безумно жаль его, и одновременно я опять поразилась неправильности происходящего. На мужа я смотрю с ощущением неловкости и стыда, будто я предала его, хотя я его не предавала. А Штурман за весь период наших странных отношений вызывал у меня самые разные чувства, среди которых не было только одного: жалости и сострадания. Неужели всё дело в любви?

Впрочем, Марсик, как выяснилось, пришел на заседание суда не для того, чтобы просто повидаться со мной. Он имел вид человека, только что совершившего важное открытие, и, можно сказать, набросился на меня с упреками.

— Почему, ну почему ты молчала о своем расследовании? Если бы я не полез в твой письменный стол, я бы так и не нашел эти твои бумаги по поддельным фирмам этого вашего Штурмова! А я всё гадал, чего это ты звонишь мне на работу и просишь пробить то один юридический адрес, то другой! Убитый-то, оказывается, был тот еще махинатор! И фирма твоя разорилась не просто так!

Он дал мне пачку каких-то бумаг. Сплошь ксерокопии счетов. Я сразу узнала счет, который унесла с работы позавчера — для меня позавчера, то есть три с лишним года на-

зад, — но он оказался далеко не единственным, и даже не самым первым из всех. Вот что за бумаги разыскал Марсик в моем столе! Интересно, до какой стадии я в конце концов довела свои поиски?

— Ладно, мне ты ничего толком не говорила, но почему, почему ты ничего не объяснила адвокату? Вообще-то он считает, что у тебя есть очень неплохой шанс изменить статью, а это будет совсем другой приговор. Тем более сейчас, с такими материалами. Ты из-за этого стреляла в него? Он тебе угрожал? Или тебя всё же подставили?

— Марсик, я не помню тот день. Я честно его не помню!

— Адвокат, конечно, меня отругал, что я поздно так спохватился, когда уже процесс подходит к концу и остались одни только прения. Но откуда мне было знать про твои дела? Говорят, теперь можно добиться доследования по вновь открывшимся обстоятельствам. Ладно, я всё понимаю, тебя стукнули по голове, и выстрела ты не помнишь, — Марсик предпочитал общаться со мной так, будто моя невиновность даже не обсуждалась. — Но почему об остальном-то молчала?

— Знаешь, не верила я, что это может быть важно. И сейчас не верю, прости, но думаю, что дело тут не в счетах, — а что я еще могла ему ответить? Не объяснять же, что не было никакого расследования, я сама не знаю, зачем мне понадобилось коллекционировать эти бумаги, я и забыла про них. Хорошо, что хотя бы сейчас успела смекнуть, что к чему, из-за всего, что случилось позавчера — для меня позавчера. Следовало подумать и о другом, о том, что я до странного плохо помню всю историю с махинациями своего начальника, а значит, никакой особенной роли в моей судьбе они не сыграли, что бы там ни считал адвокат. В конце концов, причина убийства действительно могла быть иной, и с моей стороны будет нечестно добиваться изменения статьи.

Пришел адвокат, и мне пришлось по второму разу выслушать всё то, что говорил Марсик, теперь уже в более профессиональном исполнении. Я изображала вялую радость,

пожимала руку защитника и вообще делала вид, что надеюсь на лучшее. Наконец, заседание началось.

Итак, на сегодняшний день назначили прения сторон. Всё по закону, сперва обвинение, потом защита. Прокурор говорил коротко и по делу. Позиция обвинения полностью доказана. Меня застали на месте преступления, практически с револьвером в руке, и я даже не пыталась ничего отрицать — чистосердечное признание смягчит приговор. Амнезию, на которую я ссылалась, он счел хитроумной выдумкой, необходимой, чтобы выгородить кого-то еще и избежать обвинений в преступном сговоре, ведь я отказалась объяснять, откуда взялся револьвер, хотя в остальном, сколько могла, сотрудничала со следствием. В любом случае оружие убийства пестрело отпечатками моих пальцев, как свежими, так и не очень, то есть я держала его в руках не только в день убийства, но и намного раньше. Имеются показания свидетелей о наших постоянных конфликтах с убитым. Я неоднократно давала окружающим знать, что стану убийцей, а это означает давний умысел, хотя мотив убийства по-прежнему малопонятен. Да, я пережила тяжелейшую психологическую травму в связи с потерей ребенка, однако признана виновной и отдающей себе отчет в инкриминируемом деянии. Одним словом, виновна. Но заслуживаю снисхождения.

Я слушала рассеянно, пытаясь одновременно сообразить, что же мне делать, если адвокату придет в голову сослаться на эти вновь открывшиеся обстоятельства. Хоть бы дали повнимательнее взглянуть на бумаги, я же не знаю, к чему я в итоге пришла, и уж точно не смогу объяснить, почему обо всем молчала. Кажется, мои мотивы стали чуть-чуть яснее хотя бы для меня самой, и там, где зиял черный провал, забрезжил тусклый серенький свет.

После прокурора слово предоставили потерпевшей стороне, то бишь супруге убитого. Я с интересом взглянула на нее, так как не помнила, чтобы раньше мы с ней встречались. Если честно, она разочаровала меня: немолодая некрасивая женщина, без образования, без профессии. Штурман заслуживал лучшей участи — но мне ли его судить! Даже на прокурора и на судью она смотрела с обожанием и восторгом низшего существа по отношению к высшему. Может быть, моему начальнику нравился этот преданный взгляд снизу вверх? Похоже, умом потерпевшая не блистала. Я смутно вспомнила, что на следствии она вроде бы пыталась вытребовать с меня алименты по случаю потери кормильца.

— Не знаю, как дальше жить. Был для меня всем, — я не столько слушала, сколько продолжала впитывать в себя ее облик, гадая, любил ли Штурман эту женщину или просто жил с ней, потому что когда-то женился. Наверное, всё же любил. И только под конец, когда в ее голосе прорезались истеричные нотки, я повнимательней отнеслась и к словам:

— Всё бы отдала, лишь бы хоть раз снова его увидеть. Хоть бы один только раз! Не верю, что этого больше никогда не случится!

Ну что ж, я-то убитого увижу еще много-много раз, и у меня есть хотя бы это преимущество.

Дочь от выступления отказалась.

Потом, как и положено, с места встал адвокат. Я в общих чертах представляла себе его позицию. Ничего особенного, те же факты, только видение немного другое. Беспричинность моего рокового выстрела — вот что стало камнем преткновения между обвинением и защитой. Возможно — кто его знает? — меня действительно могли бы судить по другой статье. В своей итоговой речи защитник обрисовал уже знакомый мне психологический тип: несчастная молодая

женщина, только что потерявшая единственного ребенка. И именно теперь, уже находясь в беспредельном отчаянии, она — то есть я — теряет работу, потому что фирма, с которой я связала всю свою жизнь, почти что со студенческой скамьи, — эта фирма распалась. Я хорошо знала следующий главный аргумент защиты: никто так и не удосужился выяснить, откуда я взяла револьвер. На допросах я ссылалась на амнезию. Следствие в конце концов пришло к выводу, что револьвер с какой-то целью приобрел убитый, хотя доказательств не было никаких. Но откуда я могла знать о существовании этого оружия? Откуда мне было знать, где он лежит? Как я сумела им воспользоваться и не мог ли мой выстрел оказаться самообороной? Отпечатки пальцев Штурмана там тоже нашли...

Слушать это всё было очень скучно, и я принялась вспоминать сегодняшнее утро в тюрьме. Мне с самого начала совершенно не хотелось открывать глаза. Ну еще бы! Я сразу поняла, что ложе мое стало неудобным и жестким, а судя по дыханию и бормотанию, в одной комнате со мной была куча народа. Конечно, это тюрьма! Где еще может стоять такой отвратительный запах? Я постаралась обрадоваться тому, что, по крайней мере, нахожусь в женской тюрьме, мужские, если верить слухам, намного страшнее.

Одна из моих соседок всё заходила в приступках мучительного кашля. Содрогаясь, она зарывалась лицом в подушки, и под этот бухающий звук я подумала, что, может быть, именно сейчас в мои легкие проникает тот зараженный воздух, та самая болезнь, которая в конце концов и убила меня. Впрочем, пока я чувствовала себя неплохо. Хуже того, во мне вдруг зародилось ожидание чего-то хорошего, связанного с сегодняшним днем, чего-то важного. Я постаралась запомнить и сохранить это чувство.

Другая соседка, по всем признакам полубезумная, вдруг хриплым голосом принялась пересказывать, какой сон ей сегодня приснился. Насколько я помню, такова была ее всегдашняя привычка, кричать, одергивать и даже бить ее было

бесполезно, выговориться для нее столь же необходимо, как для нас — воспользоваться умывальником и туалетом.

«И ведь всегда одно и то же. Мой дом в деревне, я знаю, что это мой дом, но в то же время не настоящий, не такой, как всамделишный дом. Цветник с другой стороны, всегда во сне с другой стороны, не с настоящей, и сосед не тот, который у меня на самом деле. А время года всегда разное. Третьего дня ранняя весна снилась, а сегодня август, малина вся осыпалась уже. И дорога к этому дому тоже всегда одинаковая снится, и всегда не такая, как она есть. А самое главное — я всегда разная, то девчонка сопливая, то молодка, а бывает, что и старуха».

Помнится, кто-то из наших крикнул ей: «А может, это твоя вторая жизнь? Ну так и живи ее, днем здесь, ночью там, поди плохо?» Ответ меня поразил:

— Так не по порядку ведь жизнь-то во сне идет, а я люблю, чтоб всё по полочкам: сначала посеять, потом проредить, прополоть, чего ж сны-то туда-сюда скачут, как очумелые? — кажется, эта баба зарезала своего пьяного мужа, наверное, обороняясь от того беспорядка, который он вносил в ее жизнь.

И вот теперь, под перепалку юристов — потому что прокурор пытался что-то возразить, а судья его всё время одергивал, — я глубоко задумалась. У этой неменяемой бабы жизнь тоже идет не по порядку, детство тасуется со старостью, правда, только во сне. А что если где-то, в глубине моих снов, запрятан другой мир, тот упорядоченный мир, в котором дни сменяют друг друга, и я живу в нем так же, как живут все нормальные люди, просто я, просыпаясь, забываю о нем? Хорошо было бы задержать в памяти эту догадку, ведь она могла оказаться правдой. Хорошо бы все-таки ее не забыть. Я решила думать о ней хотя бы сегодня. Весь сегодняшний день, каждый раз, когда мне не будут мешать.

Тут мой чуткий слух уловил новые интонации в голосе адвоката. Ах да, что это я? Мне ведь обязательно надо по-

нять, как он приспособит к делу раздобытые Марсиком новые документы, иначе я буду выглядеть законченной идиоткой. Впрочем, меня всё равно осудят, приговор и статью я помнила хорошо.

— Казалось бы, просто неумолимые обстоятельства, но никто во время следствия почему-то не удосужился задать себе тот элементарный вопрос, который задаю сейчас я: а почему разорилась фирма? Моя подзащитная, как стало мне известно совсем недавно, — к моему величайшему сожалению, совсем недавно! — тоже задавала себе этот вопрос и даже получила ответ на него. Ваша честь, моя подзащитная пришла к однозначному и ужасному выводу: не последнюю роль здесь сыграли грязные махинации ее непосредственного начальника, который думал о личном обогащении! Ваша честь, я передаю Вам соответствующие документы, чтобы Вы могли дать им правовую оценку. Возможно, прокуратуре тоже будет интересно на них взглянуть.

— Вы спросите, почему же моя подзащитная выбрала убийство, почему не обратилась за помощью в компетентные органы? Я попытаюсь ответить и на этот вопрос. Я много общался с обвиняемой, и у меня сложилось впечатление, что она не верит в эффективность правоохранительной системы...

Ну да, всё ясно, решила разобраться сама. Суд Линча, пересаженный на русскую почву. «Не Вам изменить этот мир и человеческую природу!» — «Да что там менять? Я Вас просто убью!» Или всё было не так? А вдруг действительно так и было? Откуда мне сейчас об этом знать? Нет, если бы махинации Штурмана были настолько важными для меня, я бы о них вспомнила.

А что если и впрямь стреляла не я? Штурман чего-то боялся, боялся настолько сильно, что нелегально приобрел револьвер. Его смерть могла стать печальным итогом всех его темных дел, а вовсе не моей расправой над ним. Что если убийца попросту вложил в мои руки оружие, возможно, даже ударив меня предварительно по голове, как я и предпо-

лагала на следствии? И этот тяжкий груз вины, отравлявший меня долгие годы. Вечность. Что если его не существует? Это была хорошая, очень хорошая мысль! Только б ее не забыть!

Но разве можно такое забыть? А разве я могу не забыть, если все прожитые дни рано или поздно ускользают от меня? Как же, в конце концов, ты устроена, моя память?

Глядя пустыми глазами на зрительный зал, я вдруг представила себе, что изначально моя жизнь была полосой сплошной черноты. Постепенно, с каждым новым прожитым днем, посреди этой черноты зажигаются новые лампочки. Чем чаще я проживаю один и тот же день, чем сильнее горит лампочка, и — кто его знает? — не исключено, что с каждым следующим проживанием мои дни становятся ярче и наполняются новым смыслом, даже при тех же самых мыслях, действиях и словах. Но это означает, что когда-нибудь однажды моя жизнь, пока что еще серенькая и тусклая, полная неизвестных событий и черных провалов, превратится в ленту ослепительной белизны — и дальнейшее усиление света станет бессмысленным. А не следует ли отсюда, что и для меня настанет некоторое «потом»? Мне мучительно захотелось одного: пусть это будет правдой. Видимо, мне тоже нравилось маршировать, пусть не вместе со всеми, пусть перпендикулярно другим, лишь бы вперед. Лишь бы со мной тоже случалось то, о чем я еще не знаю. Как глупо...

Между тем в заседании суда объявили пятнадцатиминутный перерыв, свидетели и зрители расходились поразмять ноги, обсуждая мою потенциальную невиновность. Я заметила, что Марсик порывается подойти ко мне, но никак не может решиться и ждет, пока я приглашу его взглядом. Я постаралась на него не смотреть. Наверное, сегодня он видит меня в последний раз, и я искренне пожелала ему счастья.

Ожидание показалось мне скучным, но не утомительным. Во-первых, я прекрасно знала, каким окажется в конце концов приговор. Во-вторых, меня не мучила несправедливость происходящего, чего бы там ни наплел адвокат. Ни адвокат, ни все эти люди, громогласно жалеющие меня, не знали главного: на моей совести действительно есть человеческая жизнь — но только не эта. Сейчас, ожидая, когда закончится перерыв, я вспомнила еще один день, видимо, уже прожитый мной, хотя и полузабытый. Бесцветный больничный коридор и ощущение надвигающейся катастрофы; темная палата со странным химическим запахом, цель которого — замаскировать другой отвратительный запах. Рядом со мной кто-то шепотом повторяет страшное: «ампутация, трансплантация». Мой сын, мой Мелкий лежит на спине на казенной кровати: опутанное шлангами маленькое тельце на широком прямоугольнике простыни. Глаза закрыты повязкой, но я знаю, что теперь он уже ничего не увидит, даже если повязку снять. Его грудь ритмично дергается в такт движениям огромных механизмов, и вся эта аппаратура, с ее огоньками, трубками, проводами, выглядит как адская машина, пожирающая его. Руки и ноги, такие крошечные, безвольно трясутся в ответ на каждый вдох. А ужаснее всего то, что ноги у него чернеют, и та же самая чернота пожирает его изнутри — по крайней мере, так объяснили мне. И над всем этим — извиняющийся голос врача: «Только операция. Останется инвалидом, даже в случае успеха. Должны надеяться на лучшее, однако мой долг — предупредить вас. Мне очень жаль». И сумма, которую он озвучил. Неподъемная для нас с Марсиком, даже если помогут родители, как мои, так и его. Даже если продать всё, что у нас есть, и занять у друзей.

И мой голос, ровный и безжизненный, произносит чудовищные слова: «Мне тоже очень жаль, но мы всё равно не сможем собрать таких денег. Я не хочу, чтобы мой ребенок мучился еще и еще. Ему будет больно всю оставшуюся жизнь, не так ли? А у меня не будет сил на это смотреть.

Я думаю, Вам лучше отключить этот аппарат. Где расписаться?» Я очень надеялась, что ритмичное шипение искусственных легких — или как они там называются — стерло нюансы моей интонации, и собеседник смог вообразить себе, будто мой голос дрожит. В любом случае он вряд ли ожидал такого ответа от матери. Я хорошо запомнила его ошарашенный взгляд. Но было и еще одно воспоминание, то, которого не прощают. Врач всё стоял, и смотрел на меня, и рука его дрожала возле каких-то хитрых кнопочек и рычагов. Он должен был повернуть их, нажать или дернуть, но он не решался. И тогда это сделала я. Просто выдернула вилку из розетки. Кажется, я при этом кричала: «Прекратите, ему же больно! Он не может это терпеть! И я не могу, я — мать!» — однако не помню, вслух я кричала или про себя. Наверное, так было нельзя, и я могла нарушить что-то внутри хитроумной машины. Но мне стало легче, когда всё случилось быстро и сразу. Мой сын дернулся еще один, последний, раз и обмяк навсегда. Возмущенное: «Что Вы натворили?» — понеслось уже мне вслед, я выбежала оттуда, не в силах больше смотреть.

То, что сделала я, нельзя было назвать убийством, ни даже поступком в полном смысле этого слова. Мной руководил чистый инстинкт. Так отдергивают руку от раскаленного чайника или зажмуривают глаза, обернувшись на ослепительный свет. Но факт остается фактом: вилку из розетки вынула я.

Не знаю, пришлось ли врачу выкручиваться и лгать, чтобы как-то замять ситуацию, однако необходимые бумаги мне принесли лишь через несколько часов и тогда же сказали, что я могу забрать тело. Эти несколько часов я просто сидела в больничном коридоре, глядя на линолеум под ногами так внимательно, что и сейчас могла бы без труда воспроизвести рисунок на нем и все царапины, и все пятна грязи, посаженные за долгие годы, прошедшие после ремонта. Я и не пыталась сопротивляться своей душевной боли, я впустила горе в себя и постаралась полностью в нем растворить-

Боль парализовала меня, все чувства притупились, мысли — тоже. Помнится, я тогда подумала, что любые родители согласились бы на всё, пошли бы на всё, лишь бы их ребенок жил, инвалидом или нет, терпя боль или не терпя, но жил. Я сама могла только гадать, как бы я поступила, если бы мое будущее было скрыто от меня. Наверное, точно так же. Лучше было прервать эту маленькую жизнь тогда, вместо того чтобы умножать годы мучений. Мой сын прожил три года, и из них всего три дня он страдал, и для меня это было важно. Умирать надо вовремя.

Тогда, сидя в коридоре, я вспомнила еще одну мать, одержимую и безумную, из учебника по истории. Магда Геббельс, которая вкладывала цианистый калий в уста своих малолетних детей и сама сжимала им челюсти. Она не хотела, чтобы ее дети остались жить в этом новом мире, где уже нет ни арийской расы, ни тысячелетнего Рейха. Неужели я — такое же чудовище, как она? Умирать надо вовремя. Может, всё дело в том, что я не боюсь умереть? Но что толку гадать? Мое будущее не было от меня скрыто. Правда, до того, как я попала в тот день, я не знала подробностей, не знала про запах, про черные ноги, про то, настолько мне будет страшно. Даже утром я еще и предположить не могла, как именно всё случится. И про вилку, выдернутую из розетки моей рукой, я тоже не знала. И все-таки я не испытала и сотой доли переживаний, выпадающих другим матерям, когда умирает ребенок. В отличие от них мы с Мелким не расставались навеки. Для меня мой мальчик продолжал жить, потому что мне было известно: настанет другой день, когда я еще раз увижу и обниму его, и он улыбнется мне, и протянет руки к моей груди, и никто не будет знать о том, что его ждет, даже я предпочту забыть на время про эту палату, про этот коридор, запах и линолеум на полу. Для меня многое упрощалось. Но факт оставался фактом: я убила своего сына, я собственными руками прекратила его жизнь. К счастью, Марсик не знал. В тот день он, ослепший и оглохший от горя, не читая подписал

все бумаги, всё, что я ему дала. Он не знал. Он был уверен, что наш сын умер сам.

Я думала и думала об этом всё до тех пор, пока женщина-конвоир, сопровождавшая меня из тюрьмы, не постучала по стеклу моей клетки, давая понять, что перерыв завершен и теперь суд ожидает моего последнего слова.

Я встала как-то механически, будто в школе, когда вызывают к доске. Возможности продумать речь и прорепетировать ее у меня, конечно, не было, хотя не исключено, что адвокат давал мне советы на этот счет. Что толку? И тогда я решила не хитрить и не притворяться, а взять и озвучить свои настоящие мысли. Речь обвиняемой на суде — единственный случай, когда люди просто обязаны дослушать тебя до конца. В конце концов, у меня было время подумать: целая жизнь.

— Ваша честь! — сказала я, обращаясь, как подобает, к судье. — Почему-то принято считать, что жизнь, любая жизнь — это всегда величайшее в мире благо, а смерть — величайшее в мире зло. Между тем никто из нас не может с достоверностью этого утверждать, потому что никто из нас не знает, что же такое смерть. Да, судя по всему, я убила человека. Как Вы знаете, я этого не помню, но у меня нет причин не доверять результатам следствия. Однако давайте же взглянем на мой поступок и с другой стороны! Умирать надо вовремя! И сколько зла в мире можно было бы избежать, если бы все думали так же, как я! Я предоставила своему начальнику шанс умереть во цвете лет, до того как старческие болезни изуродуют его тело, до того как махинации с делами фирмы приведут его на скамью подсудимых, — в зале суда наступила какая-то болезненная тишина, хотя нет, Марсик, кажется, тихо застонал, но я сейчас смотрела только на судью. — Я очень сочувствую его семье. Они

слишком долго жили в безопасности и достатке, под защитой мужа и отца, не ведая никаких забот. А это не есть настоящая жизнь! И вот теперь я даю им шанс выяснить, чего же они стоят на самом деле, на что они способны сами по себе, а не в роли жены или дочери. Не могу исключить, что этот шанс тоже пойдет им во благо. Ваша честь, у меня всё.

— Да ты же чудовище! Чудовище! — крикнула потерпевшая, его жена, и подбежала ко мне. И тут мне показалось, что я слышу эти слова не впервые. Их уже произносил другой человек — он, моя жертва! Кажется, мы тогда опять поругались и стояли друг против друга, и стол разделял нас. И лицо его сделалось белым, как никогда, и я впервые осознала смысл слов «побелел как бумага». Цвет уходил из него постепенно, медленно, сверху вниз. Пожалуй, в тот день он впервые готов был ударить меня. А еще он добавил: «Не Вы создали этот несправедливый мир, и не Вам его изменять, смиритесь!» Может быть, я решила изменить этот мир, исцелить хотя бы один порок — выстрелом? Нет, не помню, я не хочу вспоминать!

Его жена подошла ко мне почти вплотную, и я впервые увидела ее лицо с такого близкого расстояния. Однако, взглянув к ней в глаза, я заметила в них вовсе не горе, а страх.

— Да, я чудовище! Мы все чудовища, потому что мы живем в аду и ненависть правит миром! — кажется, я произнесла и эти слова не впервые. Неужели я действительно так считаю?

И, прежде чем кто-то успел отреагировать, раздался удар молотка:

— Суд удаляется для вынесения приговора! — Ну, теперь заговорили все, просто как с цепи сорвались.

Ближе всех было адвокату, и он подлетел ко мне первым, по-моему, так и не решив, срываться на крик или нет. В результате он говорил достаточно громко, но без надрыва.

— Вы испортили всё! У Вас были такие неплохие шансы заслужить снисхождение, а теперь я готов поспорить на что угодно, Вы получите срок выше высшего! И учтите, я отказываюсь в дальнейшем Вас защищать, подавайте апелляцию, как умеете, я не стану тратить время и силы на человека, который просто жаждет сесть в тюрьму и остаться там навсегда. Приговор огласят завтра, и я не вижу смысла при этом присутствовать. Прощайте, сударыня!

Я только пожала плечами. Придет, куда он денется. А апелляцию подавать я и не собиралась, я слишком быстро заболела и умру. Меньше, чем через год, так и не успев побывать на зоне. Что ж, апологии удаются не каждому, достаточно вспомнить Сократа. Значит, приговор будет только завтра. Жаль! Потому что это для моего адвоката завтра, а для меня — вообще бог весть когда.

Марсик сказал намного больше, слегка путаясь в словах и несколько раз потеряв нить рассуждений. Были тут и мои идиотские выходки, которые он, оказывается, терпел всю нашу совместную жизнь, были и сплетни про меня со Штурманом — а я и не знала, что он что-то подозревал! Закончил Марсик еще патетичнее адвоката:

— У тебя не сердце, а камень! Для тебя люди как статисты! Ты ни разу не заплакала! Даже когда умер наш сын! Ты не любила его! Ты и меня никогда не любила! Ты чудовище, просто чудовище! Я не понимаю, зачем ты вообще выходила за меня! Что, и сейчас не заплачешь?

Я не стала объяснять мужу, что взрослые люди плачут в основном от обиды и горя, а мне не было ни горько, ни обидно, ведь Марсик был прав. Я всегда была отделена от него, как и от всех остальных, незримой стеной, и лица окру-

жающих растекались перед моим внутренним взором. Я ответила ему коротко и по делу:

— Разведись! Разведись, я не против развода. Если я такое чудовище, тем легче тебе будет забыть обо мне!

— Я тебя никогда не забуду! — сказал он без всякого выражения, точно сообщил давно известную и всем надоевшую истину. И мне вдруг подумалось, что эти слова могут оказаться чистой правдой.

Пока меня уводили из зала суда, в наручниках и под конвоем, я представляла себе, как могла бы сложиться наша с ним жизнь, если бы не этот выстрел и если бы на свете не было ни туберкулеза, ни менингита. Расплатившись с кредитом на иномарку, мы рискнули бы на ипотеку, заняв у родителей денег на приобретение мебели. Потом Марсик взялся бы строить дом на нашем земельном участке, и эта великая цель начала бы высасывать из него все капиталы, время и мозг. Потом мы бы стали копить на учебу для нашего сына, не забывая иногда выезжать на курорты, делать ремонт и каждые три года покупать новый автомобиль иностранного производства. И любовь к Мелкому была бы единственным светлым пятном в этой бессмысленной и безрадостной суете. Впрочем, не исключено, что мы решили бы обзавестись вторым ребенком, и тогда нам пришлось бы менять машину каждые пять лет. А потом мы бы вдруг обнаружили, что дети выросли и навещают нас по обязанности, что коллеги ждут нашего ухода на пенсию, а всё большую долю в нашем бюджете стали занимать лекарства и «гробовые». Потом лекарства перестали бы помогать. Стоит ли эта жизнь того, чтобы ее прожить?

А может быть, Марсик прав, и я действительно чудовище, неспособное кого-либо полюбить? Душа человека, как и тело, нуждается в постоянном труде, и труд этот — в страхе за

близких, в сложности выбора. А у меня не было причины для страха, потому что страх — это неизвестность. Я за всю жизнь не приняла ни одного по-настоящему трудного решения: не было необходимости. Хуже того, я даже уже умерла! И теперь я размышляла об этом, пока меня проводили через множество утомительных и бессмысленных процедур, сопровождающих переправку таких, как я, из одной части города в другую, из суда в тюремную камеру. Я думала об этом в автозаке, где мне посчастливилось остаться одной, так как женщина-конвоир предпочла более удобное место рядом с водителем. И вот тогда, в одной особенно долгой пробке, перебирая события дня, я вспомнила лицо потерпевшей, лицо его жены, которая кричала: «Всё бы отдала, лишь бы снова его увидеть!» И страх в ее глазах, не горе, а страх. А одновременно я вспомнила десятилетнюю Марусю, ожившую от одной мысли, что кино, в котором погиб ее любимый герой, когда-нибудь повторят. И своего мужа, который жадно ворошил книги и взмахивал пультом от видеоманитофона, точно полководец, руководящий битвой, когда выбирал любимые кадры или перематывал фильм то в самый конец, то в начало, то в середину. Может быть, только обе эти сцены, вместе взятые, смогли подсказать мне то, о чем я раньше никогда не задумывалась, потому что раньше никогда мне не выпадало пережить эти два дня подряд. **Разве я не так же перематываю свою жизнь?**

Сегодня я была неправа: миром правит не ненависть, а страх. Они боятся! Боятся смерти, старости, беспомощности и болезней. Боятся потерять работу или семью, боятся бедности и унижений. Короче, всего того, чего не боюсь я, потому что я знаю содержание своей жизни, хотя и в общих чертах. Я знаю и уже как-то свыклась, а они не знают и поэтому боятся. У меня за эпохой ненависти придет другой день, в который вернется любовь, после смерти настанет детство, после болезни — молодость и здоровье. У меня есть эта длинная и такая разная жизнь, и ее невозможно отнять. Да, моя жизнь могла быть и дольше, и счастливее. Но она — моя!

Плохая, хорошая ли — но моя, и я никогда с ней не расстанусь, не брошу, не откажусь! Мне надо всего лишь сохранить, не забыть всё лучшее, всё истинно человеческое, что случилось в моей эпопее. А они утрачивают каждый прожитый день навсегда, и единственная их надежда — то самое туманное будущее, о котором они ничего не знают.

Я за всю жизнь не приняла ни одного по-настоящему трудного решения. Но ведь это неправда! Одно по-настоящему трудное решение мне еще предстоит принять, потому что я до сих пор не знаю, стреляла я в Штурмана или нет. Когда настанет **тот** день, только от меня будет зависеть, как именно я поступлю.

Я почувствовала, как презрение, точно яд, растекается по моим жилам. Это ощущение бодрило меня, заставляя чувствовать себя живой, пожалуй, более живой, чем когда-то еще. Если бы женщина-конвоир, с ее усталым и добрым лицом, сейчас заглянула ко мне, она бы до смерти испугалась. Она не смогла бы понять, чему улыбаюсь я — я, которой светит немаленький срок за убийство! Я ведь всё время считала себя ущербной. Каждый день я говорила себе: «Я хуже их, потому что в моей жизни нет и не может быть цели, прогресса, движенья вперед!» А оказывается, я лучше, я счастливей, ведь меня не сжигает страх! Психологиня, она же пионервожатая, из страха проводила с нами уроки патриотизма, а потом из страха внедряла методику профессора Хайбердеккера. Профессор Хайбердеккер создавал свою методику, потому что боялся за будущее, свое и своих детей. Из этого же страха Штурман уводил из фирмы деньги на личные счета, а теперь его жена боится грядущей нищеты и безработицы. Мой адвокат из страха продумывал свою речь! Спасаясь от всепроникающего страха, они сбиваются в стадо и готовы соблюдать законы стада, любые законы, только бы быть вместе, только бы их не изгнали!

А кроме того, они пытаются сделать со своей жизнью то же, что невольно делаю я: им помогает искусство! Они тоже хотели бы перепрыгивать из детства в смерть, а из смерти

в любовь, они тоже хотели бы знать, что ни один из любимых людей не уходит от них навсегда, так же, как не уходит ни молодость, ни здоровье. Они хотели бы прожить свои жизни не по порядку, и если бы они узнали мою тайну, они бы умерли от зависти ко мне. Не я должна завидовать им, а они — мне! Да, я чудовище, но они хотят стать такими же чудовищами, как я!

Это открытие поразило меня, и невесть откуда я ощутила неслыханный прилив сил, дурманящий веселее, чем пережитая когда-то любовь, и ярче, чем детская радость бытия. Я привсталала в своем тесном помещении, упираясь головой в потолок и не в силах остановить лихорадочный поток мыслей. Мой собственный голос кричал в моей голове, и это была моя речь, речь обвиняемой на суде — единственный случай, когда люди просто обязаны дослушать тебя до конца. Я говорила и говорила, уже не в силах остановиться в этом тесном фургончике, в этом грязном и нелепом городе, в этом странном мире. Смешнее всего то, что по извечной человеческой привычке в мою внутреннюю речь вместо «я» вкралось глупое невозможное «мы», будто я не одна, будто таких, как я, много, и незримые узы братства связывают нас куда надежнее, чем детей из моего тайного общества.

— Вы не знаете нас, а если бы знали, то ненавидели бы. А между тем вы — такие же, как мы, совершенно такие же. Желая спасти живую человеческую речь, вы создали книги, которые можно перечитывать снова и снова, каждый раз с начала, или с конца, или в обратном порядке, и обрывать там, где заблагорассудится. Сохраняя чей-то голос и звук, вы сделали граммофон, и прирученное, униженное волшебство его перестало быть волшебством. Вы придумали целую искусственную жизнь, именуемую кино, а потом сделали всё, чтобы уничтожить и это чудо, научившись бесконечное количество раз заново перелистывать его кадры. Вы лишаете себя — не понимаете? Не думаете? Не хотите понять? — вы лишаете себя размытости давних воспоминаний, прелести невозвратимого. И радости неожиданного подарка,

когда это невозвратимое вдруг возвращается к вам. Но последнего шага на ступенях в ад вы не сделали, потому что души ваши при этом каждый раз были разными. Последний шаг сделали мы, и мы никогда от него не откажемся. И ничто не сможет быть истинным в мире, где всё можно повторить. Ничто... Никогда... Не сможет.

Но некому было слышать эти слова.
Тем более что произносились они не вслух.

2015–2017

ПРИЗРАК СОЗНАНИЯ²

(отрывки)

V

Наконец, поговорив о живых организмах вообще, перейдем к человеку.

Как уже упоминалось, наше сознание устроено таким образом, что мы способны за один раз осознавать себя только в один точечный момент времени, проживая эти моменты последовательно, друг за другом. Я бы сказала, что это базовое свойство нашего сознания, незыблемое, неподверженное никаким флуктуациям, что фактически невероятно при существующей научной картине мира. Действительно, элементарные частицы возникают из кипящего вакуума и исчезают в нем, мы в принципе неспособны точно указать ни скорость, ни расположение ни одной из этих частиц, и вообще, мир полон неустойчивости и случайности. Но тем не менее, с пугающей неотвратимостью я буду проживать свои восемь лет только после семи, апрель — после марта, среду — после вторника, и что-то не слышно об исключениях из этого правила. Что служит причиной этого: строение наших тел, нашего мозга или что-то еще? На мой взгляд, здесь кроется величайшая загадка природы, хотя мы безоговорочно привыкли к ней. И нам даже в голову не приходит, что это наше одномоментное и последовательное существование во

² Лекция, прочитанная на заседании Российского междисциплинарного семинара по темпорологии; см. также сайт <http://www.chronos.msu.ru> или <http://szulik.ru>.

времени — не абсолютно, не вечно и не бесконечно, что однажды оно может измениться. Ну, после смерти, хотя бы.

Кроме того, мы асимметричны в том смысле, что помнить прошлые события для нас гораздо легче, чем предчувствовать будущее. В результате получалось, что древний человек мог по несколько раз возвращаться на неизменные (на уровне, доступном его восприятию) участки пространства, а заново переживать какие-то моменты времени — не мог, хотя помнил о них. Поэтому, осваивая окружающий мир, строя человеческое общество, создавая духовные истины, люди невольно исходили из одномоментности и необратимости времени. И чем дольше люди наблюдали за окружающим их миром, тем больше получали подтверждений того, что время течет, ведь мир вокруг них действительно постепенно изменялся. Вдобавок ко всему, люди придумали общаться, последовательно издавая разнообразные звуки, и мышление наше сводится, по большей части, к тому, что мы воспроизводим те же самые звуки мысленно, про себя, и все это только усугубляет ситуацию. И ощущение необратимости времени, течения времени сделалось базовым, именно на нем основана общая картина мира, все то, что современные дети усваивают практически бессознательно, еще до того, как научатся толком говорить, еще до того, как смогут подвергать сомнению усваиваемые истины. И если считать, что принятые в человеческом обществе духовные ценности, такие как мораль, вера, любовь, желание творить и познавать, в какой-то мере условны и призрачны, то течение времени — это самый главный, базовый призрак, на котором зиждется всё остальное.

Попробуем взглянуть на этот призрак глазами постороннего, для чего представим себе цивилизацию, отличную от нашей направлением памяти и восприятием времени. Вопрос о том, существует ли такая цивилизация в действительности, нас сейчас интересовать не должен. Будем исходить из того, что нереализуемые модели тоже полезны, особенно в науках о человеке.

VI

Рассмотрим в качестве примера цивилизацию, которая отличается от нашей только тем, что люди в ней живут в обратном времени, осознают моменты своей жизни так же последовательно, как мы, но не от рождения к смерти, а от смерти к рождению. Предположим также, что и накопление воспоминаний у них происходит в обратном порядке, то есть они помнят все, что уже успели пережить. Конечно, такое допущение очень произвольно и не вполне корректно, но, поскольку материальных носителей памяти, позволяющих однозначно связать рост воспоминаний со старением организма, пока что вроде бы не обнаружили, ничего необычного в наших предположениях нет. Для удобства я буду называть таких людей *зеркальными* по отношению к нам, хотя не стоит искать в этом определении какой-то тайный смысл или скрытые намеки на разные физические теории.

Итак, представим себе эту удивительную, невероятную цивилизацию. Представим себе, как понемногу, из праха земного, то там, то здесь возникают очертания белых от времени костей, сперва разрозненных, потом складывающихся в подобие скелета. Постепенно они обрастают плотью, а люди, живущие в этом мире, иногда приходят и смотрят, как медленно, незаметно, год за годом прорисовывается человеческое тело. Наконец, по некоторым признакам, известным любому обитателю этого мира, они понимают, что скоро в этом недвижимом теле затеплится жизнь. Люди собираются и ждут первого вдоха, первого знакомства с новым человеком. Заметим, что, в отличие от нас, они довольно часто сразу могут сказать, долго ли ему суждено прожить на белом свете. Солидный рост и вес, дряблые мышцы и седые волосы, лицо, испещренное морщинами, и многие другие вещи, которые мы почитаем за признаки отвратительной старости, радуют обитателей зеркального мира, так как для них всё

это — признак грядущего долголетия. Совершенно иными глазами смотрят они на маленькие беззубые тела тех, кому суждено уйти совсем-совсем скоро. Надо сказать, что каждый новый обитатель зеркального мира не лишен какого-либо физического недостатка, или, с нашей точки зрения, существовала какая-то болезнь, убившая его. Но эти недостатки постепенно проходят, возможно, не без помощи местных врачей, которые приучились не столько обеспечивать выздоровление, сколько ускорять его. Для нас это означало бы добиваться, чтобы смертельная болезнь возникла как можно позже и продолжалась недолго. Наступает расцвет сил, полнокровная сознательная жизнь разумного существа. Но вот приходит неотвратимое. Поначалу — совсем незаметные изменения, такие как появление хрящевой ткани на месте некоторых костей, потом рассасывание последних зубов. Постепенно исчезают некоторые признаки пола, уменьшается рост, начинает активную работу вилочковая железа, меняются все зубы. Голова становится непропорционально большой по отношению к маленькому телу, человек утрачивает координацию движений, становится совсем беспомощным, не может ходить и нормально есть. И все эти изменения наступают с пугающей неотвратимостью, хотя, возможно, зеркальные люди попытаются замедлить их. Мы ведь тоже могли бы искусственно продолжать наше детство, что, в принципе, наверное, возможно, просто никому из нас не приходило в голову этим заняться. Но еще при появлении первых роковых изменений находятся люди, с которыми у нашего зеркального человека возникает нежная эмоциональная связь. Чаще всего, хотя и не обязательно, это люди, за которыми он наблюдал, когда они возникали из праха. Постепенно они берут на себя заботу о нем, беспомощном, и кто-то из них, непременно женщина, однажды замечает определенные изменения в своем теле и понимает, что именно ей суждено особое родство с исчезающим. Под конец, когда его тело станет совсем маленьким, случается нечто, что нам показалось бы омерзительным, но для обитателей зер-

кального мира привычно и понятно. Человек исчезает в чреве этой женщины, чтобы потом раствориться в нем. Возможно, для зеркальных людей эта процедура наполнена мистическим смыслом. Возможно, с развитием цивилизации они сумеют понять, что однажды маленькая часть исчезнувшего попадет в организм другого человека. Мужчины.

Меня сейчас не интересует, возможен или невозможен этот мир в принципе. Меня интересует, каковы были бы духовные характеристики этой цивилизации, потому что такие сравнения позволяют лучше понять собственные духовные характеристики. Наверное, обитатели зеркального мира относились бы к жизни с большей долей фатализма. Действительно, продолжительность жизни примерно известна еще при возникновении из праха земного, исчезновение в чреве женщины происходит неотвратно, оно не может наступить внезапно, в отличие от нашего мира, где существуют всякие несчастные случаи и неожиданные болезни. Впрочем, в жизни зеркальных людей вообще вряд ли бывает что-то внезапное, ведь и явления природы они воспринимают в обратном порядке, но об этом немного позже. Невозможность исчезнуть случайно, в результате неблагоприятного стечения обстоятельств, сделает зеркальных людей намного смелее нас. Гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» — для них не стоит, ведь страх несвоевременной смерти им неведом. Но это еще не означает, что они окажутся деятельнее нас.

Нетрудно догадаться, что основные жизненные коллизии, центр эмоциональной жизни, главный объект искусства у зеркальных людей — это не взаимоотношения полов, не поиск брачного партнера, как у нас, а обретение родителей. Зеркальный человек не может знать заранее, кто из них, из этих окружающих его людей, станет заботиться о нем в беспомощном младенчестве, когда оно наступит. Но он точно знает, что такие люди непременно найдутся, иногда — в самый последний момент, ведь и у нас бывают женщины, которые умирают вскоре после рождения ребенка. Есть у зеркальных людей и женщины, которые уже ощу-

цают роковые изменения в своем теле, подсказывающие, что вскоре ей предстоит стать матерью, но не видят рядом с собой младенца, который должен исчезнуть внутри ее организма, и все-таки находят его в самый последний момент. (С нашей точки зрения это соответствует смерти новорожденного.) Какой простор для эмоций! Какие трогательные сюжеты!

И если у каждого из людей нашей цивилизации есть смутное осознание необходимости продолжения рода, смутное врожденное стремление сделать так, чтобы род человеческий не угасал, чтобы наши многочисленные потомки распространились по всей Земле, а еще лучше — по всей Галактике и за ее пределами тоже, то у людей зеркальных наверняка имелось бы такое же смутное убеждение, что однажды все люди сольются в нечто единое, историю свою они будут воспринимать как движение к этой, достаточно четкой цели, и не исключено, что в этом своем движении они были бы намного счастливее нас. Исчезновение людей друг в друге дало бы толчок различным верованиям в присвоение чужой памяти, чужого жизненного опыта, вере в слияние сознаний, и кое-кто из нового поколения искал бы внутри себя воспоминания исчезнувших людей с той же старательностью, с какой у нас спириты пытаются общаться с душами умерших.

Заметим, что еще сто лет назад обе последовательности картинок, от рождения к смерти и от смерти к рождению, могли считаться равноценными, так как в те времена еще не знали о существовании таких материальных носителей наследственности, как открытые сейчас гены и ДНК. Сегодня мы можем сказать, что, проведя полный генетический анализ всех окружающих его людей, зеркальный человек смог бы однозначно определить своих родителей, так что все его эмоциональные проблемы решились бы сами собой. Впрочем, наряду с носителями наследственности могут существовать и материальные носители информации, определяющей, что именно этой паре, состоящей из мужчины и женщины,

предстоит иметь общего ребенка. Мы до сих пор не нашли таких носителей, но, с другой стороны, мы их и не искали.

Явления окружающей природы зеркальные люди тоже воспринимают иначе, нежели мы. Им намного чаще приходится наблюдать, как незаметные и маленькие причины приводят к внезапному и значительному последствию, и намного реже они имеют дело со следствиями своих поступков. Окружающий мир учит их фатализму в гораздо большей степени, чем нас. Поясним все это на примере проявлений закона тяготения с нашей и с их точек зрения.

Представим себе падение метеорита. Для нас это камень, который откуда-то сверху падает на землю, и, если он достаточно велик, падение сопровождается гулом, постепенно стихающим, и клубами пыли, понемногу оседающими. И если первоначальная причина, то есть появление камня, необработанному наблюдателю непонятна, то грохот и пыль — это понятные следствия падения на землю, то есть явления известного и привычного. Для зеркального наблюдателя сначала возникают гул и клубы пыли. Сперва совсем незаметные, постепенно они растут, усиливаются, и вот вдруг, как бы ни с того ни с сего, камень отрывается от земли и исчезает сверху. Наверное, наш наблюдатель прежде всего попытается объяснить для себя, откуда взялся камень, откуда он прилетел, тогда как зеркальный, скорее всего, поставит перед собой другую задачу: научиться определять по этим малозаметным, нарастающим признакам момент отрыва от земли.

Другой пример, допустим, обвал в горах. Этот случай намного симметричнее, потому что и в прямом, и в обратном времени маленькие причины вызывают большие следствия. Разница в том, что для нас незаметная, постепенно нарастающая неустойчивость, внезапно приводящая к обвалу, — явление исключительное, редкое, и мы, пожалуй, попытаемся переделать его на свой лад, то есть своими сознательными действиями вызовем обвал в удобное для себя время, не дожидаясь, пока он случится сам. Для зеркального же

человека ничего необычного не происходит, отличие от падения метеорита только в том, что камни не исчезают в небе, а укладываются на более высоком участке горы. Возможно, он попробует предсказать, где именно.

Третий пример: человек берет камень с земли и бросает его. Для нас падение камня — это прогнозируемое следствие нашего сознательного поступка. Для зеркального человека весь фокус в том, что камень почему-то таинственным образом оказывается в его ладони, хотя он мог бы догадаться об этом по кратковременной усталости мышц руки, наступившей непосредственно до попадания камня в ладонь.

Наконец, четвертый пример: человек падает с дерева. Для нас падение будет следствием нашего сознательного поведения: хотел залезть наверх, оступился, не удержался. А потом — боль, синяки или, хуже того, переломанные кости. Зеркальный человек сначала почувствует боль, постепенно нарастающую, и по опыту он будет знать: эта боль означает, что вскоре ему суждено испытать внезапный отрыв от земли, после которого все пройдет.

Даже эти простые примеры позволяют понять, что для нас освоение окружающего мира и, в конечном счете, наука будут связаны с попытками своими сознательными действиями вызвать изменения в нашем окружении, то есть с попытками сознательно управлять миром. А у людей зеркальных на первый план выдвигается способность предсказывать большие следствия маленьких причин, и с развитием цивилизации они научатся делать это все точнее и точнее.

Иначе говоря, можно задать вопрос: до какой степени наша наука в ее современном виде существует благодаря тому, что наше сознание оказалось ориентированным во времени по направлению неубывания энтропии? А сохранят ли представители зеркальной цивилизации нашу иллюзию свободы воли?

Говоря об этой зеркальной цивилизации, мы исходили из того, что память у них тоже зеркальна, то есть им известно все пережитое и неизвестно то, что только предстоит пере-

жить. Тогда интересно было бы поставить еще один, правда, чисто умозрительный вопрос, о скорости пробуждения личности. Как известно, у нас в начале жизни происходит постепенное пробуждение разума: маленький ребенок сперва совсем не помнит себя, затем осознает лишь отдельные разрозненные эпизоды, и только через несколько лет после рождения эти эпизоды сливаются в непрерывную картинку. Вероятно, так мозг учится обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств. В конце жизни, напротив, происходит резкое угасание сознания. А что было бы при обратном проживании времени?

Замечу, кстати, что мы привели здесь самый простой, самый похожий на нас и поэтому самый доступный для понимания пример цивилизации с другим восприятием времени. А ведь возможны варианты и посложнее. В качестве домашнего задания предлагаю присутствующим представить себе людей, проживающих *дни* своей жизни, то есть периоды бодрствования, в произвольном порядке. Людей, которые, засыпая, не знают, на каком отрезке своей жизни им суждено проснуться, хотя у них есть смутная память, смутное, как во сне, общее представление обо всей имеющейся жизни в целом, и это помогает им ориентироваться в каждом отдельно взятом дне. В отличие от нас они даже не знают, конечно их существование или нет. Как представить себе психическую жизнь этих людей, их мечты, надежды и страхи? Могли бы мы, проживающие свои дни последовательно, помня прошлое и не зная ничего о будущем, наладить какую-то связь с этой цивилизацией?

VII

Подводя итоги моего сегодняшнего выступления, я вкратце напомним обсуждавшиеся вопросы. Не думаю, чтобы нам в ближайшей перспективе удалось ответить на них, но эти вопросы следует хотя бы поставить.

1. Как прояснить определение времени, разграничить слившееся в одном слове множество разных понятий? Напоминаю, что предлагалось различать релятивистское время, энтропийное время, эзотерическое время и просто время, не сводимое ни к одному из предыдущих. Возможно, следует выделить еще какие-то типы времени.

2. Течение времени — это объективное свойство мира или особенность нашего сознания? И если справедлив именно второй вариант, то не следует ли нам попытаться преодолеть эту особенность? Например, переформулировать законы природы «в неподвижном варианте», используя для простоты аналогию с трехмерным миром (два пространственных измерения и одно временное)?

Насколько это наше восприятие времени связано с использованием растянутого во времени вербального общения, вербального мышления? Наличие языка — это следствие нашего движущегося во времени сознания или одна из его причин? Как воспринимает время ребенок, еще не умеющий говорить?

Подчеркну, что я ставлю под сомнение не *наличие* времени, а *течение* времени. Пространство-время может быть непрерывным, может быть дискретным, возможно, оно искривлено и состоит из разнородных и разнокалиберных квантов. *Но оно существует.* А наше сознание *движется* по нашей мировой линии. Есть и еще одна важная особенность, о которой стоит упомянуть. Если сравнить мировую линию какого-нибудь электрона с мировой линией человеческого «эго» в дискретном пространстве-времени, то ничто не мешает нам увидеть несколько *разных* электронов, каждый из которых занимает свою ячейку пространства-времени, хотя они и соседствуют друг с другом. А вот вспышки человеческого «эго» в разных ячейках пространства-времени мы почему-то объединяем в целостное «Я». И, по аналогии, считаем, что рядом с нами живет и движется во времени один и тот же электрон. Но насколько оправдана эта аналогия?

3. Способность осознавать себя только в один момент времени и последовательно переходить от одного момента к другому — это типично человеческая черта или она присуща любому живому существу? Это необходимое свойство любой живой материи или локальная аномалия, возникшая на нашей планете? Можно ли выделить какие-то особенности живой материи, обуславливающие данное свойство? Например, найти материальные носители той несимметричности, из-за которой память у нас развита сильнее, чем предчувствия? Как представить себе жизнь, лишённую движения во времени? Можно ли дать определение жизни «с точки зрения стороннего многомерного наблюдателя», не связанное с такими понятиями, как рождение, смерть, воспроизводство себе подобных?

4. Если наша цивилизация уникальна именно по признаку восприятия времени, то в чем ее ценность: моральная, духовная, научная — по сравнению с другими возможными цивилизациями? В чем наша роль во Вселенной? В том, что у нас появились особенные понятия добра и зла, вера, надежда? Специально для верующих могу сформулировать еще один вопрос: зачем Господь, создавая человека, наделил его именно таким восприятием времени? А как воспринимает время Он сам? Необходимо осознать, насколько необычно это наше восприятие времени, необычно своей нулевой размерностью, неумолимым движением, полным отсутствием случайности, насколько оно маловероятно — и удивиться, что ли.

5. Следует ли нам пытаться путешествовать во времени, точнее, как-то управлять течением времени? Здесь, кстати, я готова указать свой ответ на вопрос: да, следует. Но на самом деле скорее потому, что я просто не вижу другого выхода, иначе линейная история человечества превратится в дурной сон, в навязчивый кошмар.

Следует ли нам попытаться преодолеть в себе ту особенность сознания, которая заставляет нас проживать моменты времени поточечно, по отдельности? Лично я не хочу ми-

риться с тем, что мы должны рвать свои души на части, что в каждый момент времени нам дозволено пользоваться лишь этой крохотной, мгновенной частицей души. Моя душа должна принадлежать мне целиком. Но к чему эти попытки, если они хоть сколько-нибудь удадутся, могут привести? Ответу на этот последний вопрос, в сущности, посвящена моя художественная книга³, с презентацией которой я выступала здесь же полтора года назад.

³ Имеется в виду книга В.Шуликовской «Настоящие путешественники во времени» (Ижевск: ООО ИИЦ «Бон Анца», 2008).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Хроники одной жизни.....	3
Предисловие автора.....	4
День первый. Вроде бы смерть.....	6
День второй. Тоже любовь.....	18
День третий. Как бы детство.....	46
День четвертый. Иллюзия суда.....	63
Призрак сознания (отрывки).....	83

В соответствии
с Федеральным законом
от 29.12.2010 г. №436-ФЗ 12+

ШУЛИКОВСКАЯ Валентина Валентиновна

ХРОНИКИ ОДНОЙ ЖИЗНИ

Подписано в печать 10.02.2017. Формат 60×84 1/16.
Усл. печ. л. 5,6.

ООО ИИЦ «Бон Анца»
426063, г. Ижевск, пр. Дзержинского, 3.
Тел./факс: (3412) 63-21-63. E-mail: mail@izhcat.ru